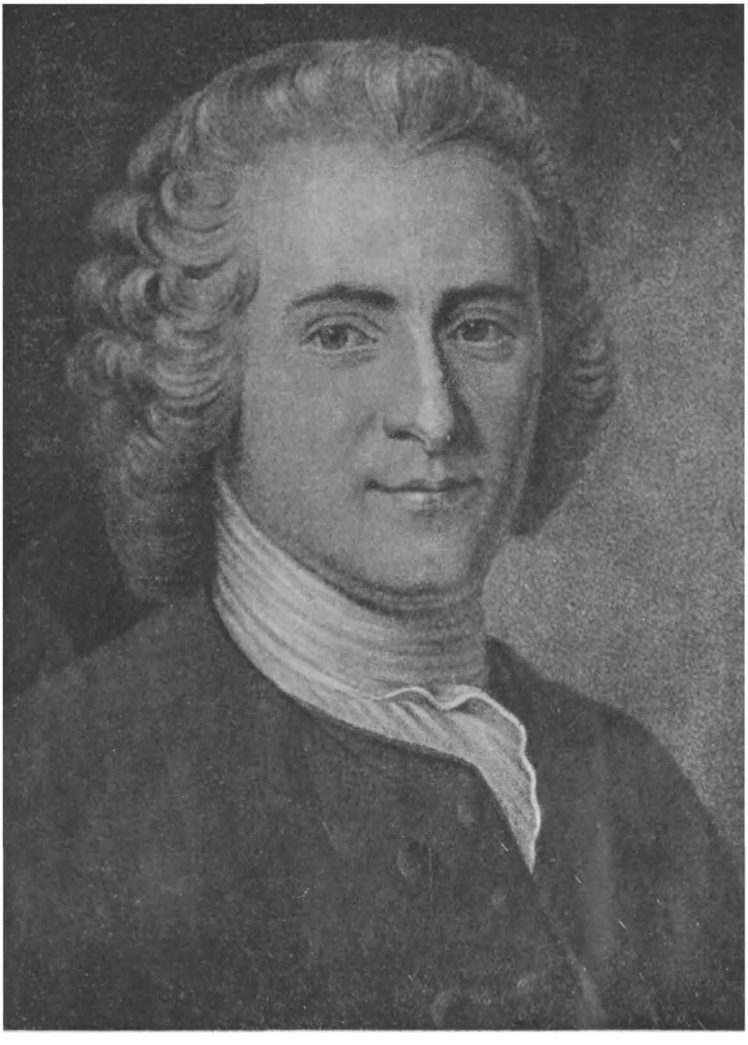
ЖАН-ЖАК

РУССО

ОБ
ОБЩЕСТВЕННОМ
ДОГОВОРЕ

ОГИЗ · СОЦЭКГИЗ · 1938



ЖАН ЖАК РУССО

АКАДЕМИЯ НАУК СССР. ИНСТИТУТ ФИЛОСОФИИ

ЖАН-ЖАК
РУССО

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

ПРИНЦИПЫ ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРАВА

ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
МОСКВА—1938

301
Р 89 доб. 34

«Об общественном договоре» — главное произведение Жана-Жака Руссо и наиболее яркий документ политической мысли французского просвещения. В этом произведении Руссо противопоставляет произволу абсолютной монархии идею народного суверенитета и принципы буржуазно-демократической республики.

Идеи, изложенные Руссо в «Общественном договоре», играли чрезвычайно большую роль в подготовке французской буржуазной революции. Те же идеи легли в основу Декларации прав 1789 г.

ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА

«Об общественном договоре» Жана-Жака Руссо (1712—1778 гг.) — один из крупнейших литературных памятников общественно-политической мысли. Книга эта представляет и сейчас, и для советских читателей большой интерес, поскольку она дает очень много для понимания теоретических источников и исторической подготовки идей буржуазной революции и буржуазного государственного права.

Франция XVIII в. была ареной классовой борьбы, достигшей особенного ожесточения к концу века, в пору французской буржуазной революции. Благодаря развитию капиталистических мануфактур и морской торговли Франция уже к началу XVIII в. превращается в крупнейшую мировую торгово-промышленную державу, уступая в своем экономическом развитии лишь Англии. Новый класс крупной торговой и промышленной буржуазии, опиравшийся на свое все возраставшее экономическое могущество, выступал от имени всего «третьего сословия»: он требовал отмены политических и правовых привилегий дворянства и духовенства и готовился к завоеванию государственной власти. Крайнее обнищание французской деревни, обремененной крепостными повинностями, и разорение городской мелкой буржуазии создавали те революционные силы, с помощью которых буржуазия шла к свержению «старого порядка».

Философия «просвещения» помогала ей осмысливать свои классовые интересы. Философы объединяли свои силы на почве совместной борьбы против абсолютизма, церкви, религиозной нетерпимости, неравноправия широких масс.

Однако в их среде уже намечались различные классовые позиции. В противоположность основной группе «просветителей» (Вольтер, Монтескье, французские материалисты), последовательных выразителей идеологии прогрессивной буржуазии XVIII в., Руссо в этой философской борьбе выступает как представитель революционной мелкой буржуазии. Оставаясь в основном идеалистом в своем общем мировоззрении и в своих общественно-исторических взглядах, Руссо, однако, проявляет гораздо большее историческое чутье при подходе к общественным явлениям, чем другие современные ему мыслители.

Сын часовщика, гражданин свободного швейцарского города Женевы, прошедший трудовую жизнь, полную скитаний и лишений, Руссо уже в раннем своем трактате, доставившем ему широкую известность, «Рассуждении о науках и искусствах» (1750 г.), ставит в центре своего внимания вопрос об общественном неравенстве. Руссо доказывал, что развитие наук и искусств до сих пор не способствовало улучшению нравов, но, наоборот, усиливало общественное неравенство: общественные учреждения, покоящиеся на неравенстве — богатстве и праздности одних и тяжелом труде других,— делают доброго от природы человека злым и порочным.

Выясняя далее этот вопрос в другой работе «О происхождении и основах неравенства между людьми» (1755 г.), Руссо подходит к развитию общества более исторически, чем другие современные ему мыслители. Он показывает здесь все различие между ранним естественным состоянием, в котором находился первобытный дикарь, и гражданским состоянием, которое уже покоится на частной собственности. «Тот,— писал Руссо,— кто первый отгородил участок земли и осмелился сказать «это принадлежит мне», и нашел людей, которые были достаточно глупы, чтобы этому поверить, был истинным основателем гражданского общества».

Частная собственность, согласно Руссо, была причиной возникновения порабощения одних и господства других. Это неравенство людей, указывал он, прогрессирует вместе с ходом цивилизации. Государство и право, созданные для защиты человеческой свободы, также становятся орудиями неравенства От первоначального равенства, в котором находились первобытные люди, человеческое общество приходит к все большему неравенству. Развивается деспотизм в государственном управлении, что ведет к новому «равенству», равенству всех перед деспотом, при котором свобода каждого равна нулю. Но эта крайняя точка, указывал Руссо, замыкает круг и соприкасается с началом развития. Неравенство может и должно быть устранено силой народа. Оно должно смениться равенством, основанным на последовательном проведении «общественного договора». Маркс и Энгельс отмечали диалектический характер этих рассуждений Руссо.

Трактат «Об общественном договоре», (1762 г.) представляет собой дальнейшее развитие и завершение той же системы взглядов Руссо. Совершенно неправильно поэтому противопоставлять учение Руссо о происхождении неравенства его «Общественному договору». Если в более ранних работах Руссо выяснял корни неравенства, то и здесь Руссо выступает в качестве защитника свободы, равенства и правовой демократии.

«Человек рожден свободным,— начинает свой трактат Руссо,— а между тем повсюду он в оковах». Руссо критикует теоретиков, пытавшихся объяснять существующий характер государственного управления «высоким» происхождением монархов и основывавшие юридические привилегии на силе, на завоевании и т. д. Такое правление незаконно, утверждает Руссо: оно было бы законным лишь в том случае, если бы сам народ был властен допустить или отвергнуть его. Но тогда это не было бы уже произволом.

Идеализм Руссо в его взглядах на общество получает в «Общественном договоре» особенно ясное выражение. Согласно учению Руссо, действительное основание гражданского общества, нужно видеть в первичном акте «общественного договора». Создание гражданского общества — правовой акт, в котором одновременно и ограничивается и сохраняется свобода каждого гражданина. Как указывает Руссо, общественный договор должен разрешить следующую основную задачу: «найти такую форму ассоциации, которая защищала и охраняла бы всей общей силой личность и имущество каждого члена и благодаря которой всякий, соединяясь со всеми, повиновался бы только самому себе и оставался так же свободен, как и прежде».

Этот акт создания ассоциации (гражданского общества) или общественный договор, по словам Руссо, осуществляется на следующих условиях: «Всякий из нас ставит себя и свое могущество, как общее достояние, под высшее управление общей воли; и мы, как целое, принимаем каждого члена, как неразделыную часть всего» (кн. I, гл. 6).

Буржуазные государствоведы, в особенности кантианцы, стремятся видеть в «общественном договоре» Руссо чисто рациональную, абстрактно-логическую конструкцию. Они указывали, что, в отличие от прежних теоретиков естественного права (Пуфендорфа, Локка), Руссо видел в общественном договоре не исторический факт, но лишь некоторые предполагаемые разумные условия существования правового государства. Такое истолкование взглядов Руссо объясняется желанием буржуазных юристов смягчить и ограничить действительный революционный политический смысл трактата Руссо.

Взгляды идеалиста Руссо не дают, разумеется, правильного представления о действительном ходе исторического развития общества, который устанавливает марксизм. Руссо не видит, например, того, что классовое неравенство и интересы классового господства были основной предпосылкой создания государства как орудия угнетения. Руссо не проводит также должного различия между государством и гражданским обществом. Тем не

менее нетрудно заметить, что взгляды Руссо в гораздо большей степени проникнуты историзмом, чем многие современные ему и позднейшие буржуазные теории.

В то же время понятие общественного договора имеет у Руссо и определенное логическое, идеальное значение. В том, что каждый человек как бы переуступает объединению всех граждан («общей воле») свои силы и свою волю, Руссо видит логическую основу, молчаливую предпосылку всякого общественного, гражданского состояния (sociabilité). Задача состоит лишь в том, чтобы наиболее последовательно развить и провести в жизнь эти принципы ассоциации. В этом смысле «общественный договор» выступает у Руссо также как некоторый общественно-политический идеал, как «царство разума», как выдвигаемая им общественно-политическая программа. И если эта программа оказалась утопической и идеализировала царство буржуазии, если она не лишена внутренних противоречий и даже некоторых реакционных моментов, то это объясняется своеобразным положением мелкой буржуазии в условиях развивавшегося капиталистического общества.

Основная идея «Общественного договора» — учение об «общей воле (volonté générale), или народном суверенитете. Общая воля, согласно Руссо, не есть механическое объединение всех частных воль граждан, из которых каждая направлена на преследование своих частных интересов. Руссо как диалектик проводит различие между волей *всех* и *общей* волей. Общая воля имеет ту отличительную черту, что она направлена на общее благо, на благо всего народа. Вступая в общественный договор с другими согражданами или, проще говоря, становясь членом гражданского общества, каждый должен поступиться своими личными, частными интересами в пользу общих интересов, должен, повидимому, пойти на ограничение своей свободы. Но такое ограничение свободы каждого, разъясняет Руссо, есть на деле наиболее полное осуществление и возрастание свободы. Это объясняется тем, что индивидуальные интересы каждого члена гражданского общества совпадают с общими интересами, а индивидуальная воля становится частью всесильной общей воли. Будучи направлена на общее благо, индивидуальная воля каждого по существу совпадает с общей волей. Что же такое общее благо? Это свобода и равенство каждого.

Этими рассуждениями Руссо обосновывает принцип *суверенности* общей, народной воли. Общая воля, воля народа, по его словам, не может быть ограничена никакими законами, никакой иной властью.

Общая воля находит себе выражение в общем собрании

всех граждан, которое, согласно Руссо, должно являться единственным законодателем. Избранные депутаты народа, или, как выражается Руссо, народные комиссары, всецело ответственны перед народным собранием. Они вправе лишь подготовлять текст законов, но утверждает их общая воля. Суверенность народа неотчуждаема и неделима: она не может никому передаваться. Всякое обещание народа повиноваться кому-либо другому (монарху и т. д.) означает разрушение «политического целого» народа. Республиканский образ правления поэтому единственно закономерный. Высшей формой республики Руссо считает буржуазную демократию. Руссо указывает также, что последовательное проведение демократии предполагает существование лишь небольших государств, где народ мог бы собираться для выявления своей «общей воли».

Однако во взглядах Руссо содержатся большие противоречия. Дело в том, что экономической основой своего гражданского общества Руссо признает право частной собственности, основанной, по его словам, на личном «труде и обработке». Но Руссо упускает из виду, что сама частная собственность в своем историческом развитии неминуемо приводит к неравенству и к развитию эксплоатации. Сам Руссо предвидит при сохранении демократии «гражданские войны» и внутренние волнения, поскольку полного экономического уравнения нельзя было бы достигнуть на основе частной собственности. Руссо вынужден поэтому признать возможность и других форм государственного устройства — аристократии и монархии. Различные формы государственного строя, по его словам, применимы в зависимости от различных географических условий, характера и уровня культуры в данной стране и т. д.

«Общественный договор» Руссо имел огромное революционное значение для своей эпохи: он дал наиболее яркое, последовательное, наиболее далеко идущее выражение принципам буржуазного демократизма. Волю народа как единственного суверена и верховного законодателя он противопоставил своеволию абсолютной власти и привилегиям высших сословий. Но взгляды Руссо вместе с тем оставались идеализацией буржуазных отношений, отношений частной собственности. Внутренние противоречия взглядов Руссо и его многочисленные оговорки позволили использовать его политические идеи для обоснования стремлений различных групп буржуазии и мелкой буржуазии, которые выступили в период французской буржуазной революции. Основные положения «Общественного договора» повторяли в своих речах не только якобинцы идеологи революционной буржуазной демократии — Робеспьер и Марат. Те же идеи «Общественного договора» легли в основу «Декларации прав» 1789 г.

и были использованы с оговорками для критики привилегий высших сословий представителями умеренной буржуазии (Сийес и др.).

Энгельс писал по поводу «Общественного договора» Руссо и вообще по поводу общественных идеалов философов-рационалистов XVIII в.: «Мы знаем теперь, что это царство разума было не чем иным, как идеализированным царством буржуазии; что вечная справедливость осуществилась в виде буржуазной юстиции; что естественное равенство ограничилось равенством граждан перед законом, а существеннейшим из прав человека было объявлено право буржуазной собственности. Разумное государство и «общественный договор» Руссо оказались и могли оказаться на практике только буржуазной демократической республикой. Мыслители XVIII века, как и все их предшественники, не могли выйти за пределы, которые ставила им тогдашняя эпоха» *.

Руссо дал высшее выражение принципам буржуазного демократизма. И вместе с тем демократизм как самого Руссо, так в особенности его позднейших буржуазных истолкователей, не мог не быть исторически ограниченным, урезанным демократизмом. Свобода и равенство понимались им лишь как формальное равенство граждан перед законом, лишенное каких бы то ни было материальных гарантий, материальных условий осуществления этих свобод. Их предпосылкой, «священным» правом оставалось право частной собственности на средства производства.

Лишь рабочий класс, руководимый партией Ленина — Сталина, после своей победы, и в результате построения социалистического общества в нашей стране, заложил незыблемую основу того нового, наиболее последовательного социалистического демократизма, который «не ограничивается фиксированием формальных прав граждан, а переносит центр тяжести на вопрос о гарантиях этих прав, на вопрос о средствах осуществления этих прав» **. Советский государственный строй создал все возможности для наиболее полного и действительного выражения общей воли советского народа. Великая Сталинская Конституция, базирующаяся на принципах социализма, на социалистической общественной собственности, плановом ведении народного хозяйства, ликвидации эксплоатации и эксплоататорских классов, обеспечивает самое широкое и полное развитие социалистического демократизма и воплощает в жизнь мечты лучших умов прогрессивного и передового человечества.

---

* *Маркс* и *Энгельс*. Собр. соч., т. XIV, стр. 18.
** *Сталин*, О проекте Конституции Союза ССР.

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

Dicamus leges
Foederis aequas.
Aeneid. XI *

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Этот небольшой трактат извлечен из более обширного сочинения, которое я некогда предпринял, не рассчитав своих сил, и которое давно уже оставил. Из различных отрывков, которые можно было извлечь из того, что было уже сделано, предлагаемый отрывок — самый значительный и, как мне казалось, наименее недостойный того, чтобы быть опубликованным. Остальное уже более не существует.

---

* Мы расскажем о справедливых законах, основанных на договоре.

КНИГА ПЕРВАЯ

Я хочу исследовать, может ли существовать в гражданском строе,— если брать людей такими, каковы они суть, а законы такими, какими они могут быть,— какой-нибудь принцип законного и устойчивого управления. В этом исследовании я всегда буду стараться соединить то, что дозволяет право, с тем, чего требует выгода, дабы польза и справедливость не оказались разделенными.

Я приступлю прямо к изложению предмета, не доказывая предварительно его важности. Меня могут спросить: разве я государь или законодатель, что пишу о политике? На это я отвечаю: Нет, я не государь и не законодатель, и именно поэтому-то я и пишу о политике. Если бы я был тем или другим, я не стал бы терять времени для того, чтобы сказать, что нужно делать: я бы делал или молчал.

Как бы ни было слабо влияние, которое может оказать мой голос на общественные дела, для меня, рожденного гражданином свободного государства, и члена суверенного народа, достаточно самого права голоса уже возлагающего на меня обязанность вникать в эти дела; и всякий раз когда я размышляю о правительствах, я счастлив, что в своих изысканиях нахожу все большее основание любить образ правления своей страны.

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ ПЕРВОЙ КНИГИ

Человек рожден свободным, а между тем везде он в оковах. Иной считает себя повелителем других, а сам не перестает быть рабом в еще большей степени, чем они. Каким образом произошла эта перемена? Я не знаю. Что может сделать эту перемену законной? Думаю, что я могу разрешить этот вопрос.

Если бы я принимал во внимание только силу и последствия, из нее проистекающие, я бы сказал: «Пока народ, принужденный повиноваться, повинуется, он поступает хорошо; но как только, имея возможность сбросить с себя ярмо, народ сбрасывает его, он поступает еще лучше: так как народ, возвращая себе свою свободу по тому же праву, по какому она была у него отнята, был вправе вернуть себе ее — или же не было никакого основания отнимать ее у него». Но общественный строй есть священное право, служащее основанием для всех других прав. Однако право это не дано природой; оно, следовательно, основано на соглашениях. Вопрос только в том, каковы эти соглашения. Но, прежде чем перейти к их рассмотрению, я должен обосновать то, что я здесь высказал.

ГЛАВА II

О ПЕРВОНАЧАЛЬНЫХ ОБЩЕСТВАХ

Древнейшее из всех обществ и единственно естественное — это семья; но и в семье дети остаются привязанными к отцу только до тех пор, пока они нуждаются в нем для самосохранения. Как только исчезает эта необходимость, естественные узы рушатся. Дети, свободные от обязанности повиноваться отцу, и отец, свободный от обязанности заботиться о детях, становятся равно независимыми. Если же они и продолжают жить в единении, то это происходит уже добровольно, а не естественно, и целостность самой семьи поддерживается только путем соглашения.

Эта общая свобода есть следствие человеческой природы. Ее первый закон — забота о самосохранении, ее первые заботы — те, которые человек обязан иметь по отношению к самому себе; и как только человек достигает разумного возраста, он становится своим собственным господином, будучи единственным судьей тех средств, которые пригодны для его самосохранения.

Семья есть, таким образом, если угодно, первый образец политических обществ: начальник походит на отца, а народ на детей, и все, рожденные равными и свободными, отчуждают свою свободу только для своей личной пользы. Разница заключается лишь в том, что в семье любовь отца к детям вознаграждает его за заботы о них, в государстве же удовольствие быть повелителем заменяет любовь, которой не чувствуют властелины к подчиненным им народам.

Гроций отрицает, что всякая человеческая власть установлена в пользу управляемых; в качестве примера он приводит рабство. Наиболее постоянной манерой рассуждения у Гроция является установление права на факте*. Можно было бы применять метод более последовательный, но нельзя найти метода, более благоприятного для тиранов.

Таким образом, по Гроцию, остается под вопросом, кто кому принадлежит: человеческий ли род сотне людей, или эта сотня людей человеческому роду; и кажется, что во всей своей книге Гроций склоняется к первому мнению; таково также мнение Гоббса. Итак, человечество оказывается разделенным на стада скота, имеющие каждое своего хозяина, который охраняет свое стадо, чтобы сожрать его.

Как пастух по природе своей стоит выше своего стада, так и пастыри, стоящие во главе людей, принадлежат к породе высшей, чем их народ. Так рассуждал, по словам Филона, император Калигула, делая довольно искусно из такой аналогии тот вывод, что цари — боги, народы — скоты.

Рассуждение Калигулы походит на рассуждения Гоббса и Гроция. Аристотель, задолго до них, тоже сказал, что люди по природе вовсе не равны, но что одни рождаются для рабства, а другие для господства.

Аристотель был прав; но он принимал следствие за причину. Всякий человек, рожденный в рабстве, рождается для рабства,— нет, конечно, ничего более верного. Рабы теряют все в своих оковах, вплоть до желания освободиться от этих оков; они довольны своим рабским состоянием, точно так же как товарищи Улисса были довольны своим превращением в скотов**. Итак, если есть рабы по природе, то это потому, что до этого были рабы вопреки природе. Сила создала первых рабов, трусость увековечила их.

Я ничего не сказал о царе Адаме, ни об императоре Ное, отце трех великих монархов, которые разделили между собой вселенную, как это сделали и дети Сатурна, в которых думали узнать первых. Я надеюсь, что мне будут благодарны за мою умеренность; потому что, происходя по прямой линии от одного из этих государей и, может быть, даже

---

* Ученые исследования о публичном праве часто суть не более как история древних злоупотреблений; и вовсе некстати то упорство, с каким старались их изучить. «Traité des intérêts de la France avec ses voisins», par M. le marquis d'Argenson (imprimé chez Rey à Amsterdam). Таковы именно исследования Гроция.

** См. маленький трактат Плутарха: «О том, как животные пользуются разумом».

от старшей линии, кто знает, не мог ли бы я, поверяя свои права, очутиться законным государем человеческого рода? Как бы то ни было, нельзя не согласиться, что Адам был повелителем мира, как Робинзон был повелителем своего острова, пока он был на нем единственным обитателем; и одно было удобно в этой империи, это то, что монарх, уверенный в безопасности своего трона, не должен был бояться ни возмущений, ни войн, ни заговорщиков.

ГЛАВА III

О ПРАВЕ СИЛЬНОГО

Самый сильный никогда не бывает достаточно силен, чтобы быть постоянно господином, если только он не превращает своей силы в право, а повиновения в долг. Отсюда и проистекает право сильного; право, как будто принятое в ироническом смысле, однако в действительности возведенное в принцип. Но разве нам никогда не объяснят этого слова? Сила есть мощь физическая, и я не вижу, какую мораль можно вывести из ее применения. Уступать силе является актом необходимости, но не воли; самое большее, такую уступку можно счесть актом благоразумия. В каком же смысле может уступка силе быть долгом?

Предположим на мгновение, что это мнимое право существует. Я утверждаю, что из такого предположения получается только необъяснимая галиматья; потому что если сила создает право, то следствие ставится на место причины: всякая сила, которая превосходит другую силу, наследует и право последней. Если можно не повиноваться безнаказанно, значит, можно это сделать на законном основании; и так как более сильный всегда прав, то все дело сводится к тому, чтобы постараться быть более сильным. Что же это за право, которое гибнет, как только прекращается сила? Если приходится повиноваться насильно, то нет необходимости повиноваться по долгу; и если кто-нибудь не вынуждается более к повиновению, то он не обязан более повиноваться. Из этого видно, что слово *право* ничего не прибавляет к силе; оно ровно ничего не означает в данном случае.

Повинуйтесь властям. Если этим хотят сказать: уступайте силе, то правило это хорошее, но излишнее; я утверждаю, что оно никогда не будет нарушено. Всякая власть происходит от бога; согласен. Но и всякая болезнь тоже происходит от бога; но разве это значит, что нельзя позвать

врача? Если разбойник нападает на меня в глухом лесу, я силой вынужден буду отдать ему свой кошелек; но если бы я мог скрыть его от разбойника, то разве я был бы все-таки обязан по совести отдать ему этот кошелек? Ибо в конце концов пистолет, который он держит, тоже власть.

Согласимся же, что сила не создает права и что человек обязан повиноваться только законным властям. И мы вновь возвращаемся, таким образом, к моему первому вопросу.

ГЛАВА IV

О РАБСТВЕ

Поскольку ни один человек не имеет естественной власти над себе подобными и поскольку сила не создает никакого права, то в качестве основы всякой законной власти среди людей остаются соглашения.

Если частный человек, говорит Гроций, может отчудить свою свободу и стать рабом какого-нибудь господина, то почему целый народ не мог бы отчудить своей свободы и стать подданным какого-нибудь короля? Здесь много двусмысленных слов, которые нуждаются в объяснении; но остановимся на слове *отчудить*. Отчудить значит отдать или продать. Человек же, делающийся рабом другого, не отдает себя: он продает себя, по меньшей мере, для обеспечения своего существования; но для чего стал бы продавать себя народ? Король не только не доставляет средств к существованию своим подданным, а, напротив, сам живет всецело на их счет; а, как замечает Рабле, королю не мало надо для жизни. Выходит, что подданные отдают свою личность под условием, что у них отнимут и их имущество? Я не понимаю, что же останется им самим.

Скажут, что деспот обеспечивает своим подданным гражданское спокойствие; пусть так, но что выигрывают они, если войны, которые навлекает на них его честолюбие, если его ненасытная жадность, если притеснения — разоряют их больше, чем могли бы это сделать взаимные несогласия между ними? Что выигрывают они, если и спокойствие это есть одно из их бедствий? Живут спокойно и в тюрьмах; достаточно ли этого, однако, чтобы чувствовать себя в них хорошо? Греки, запертые в пещере Циклопа, жили в ней спокойно — в ожидании, пока наступит их очередь быть съеденными.

Говорить, что человек даром отдает себя, это значит говорить нечто нелепое и непостижимое; такой акт безза-

конен и недействителен по одному тому, что тот, кто его совершает, не в здравом уме. Говорить то же самое о целом народе, это значит предполагать, что народ состоит из сумасшедших: безумие не есть, однако, источник права.

Если даже каждый и может отчудить самого себя, то он не может отчудить своих детей; они рождаются людьми свободными; их свобода принадлежит им, и никто, кроме них, не может распоряжаться ею. Пока дети не достигли еще разумного возраста, отец может от их имени вступать в соглашения, направленные к их сохранению и благу, но он не может отдавать их безусловно и безвозвратно; такой дар противен целям природы и превосходит права отца. Необходимо было бы, значит, для того, чтобы произвольное правительство стало законным, чтобы в каждом поколении народ был волен принять или отвергнуть это правительство; но тогда оно не было бы уже произвольным.

Отказаться от своей свободы — это значит отказаться от своего человеческого достоинства, от прав человека, даже от его обязанностей. Нет такого вознаграждения, которое могло бы возместить отказ от всего. Такой отказ несовместим с человеческой природой; отнять всякую свободу у своей воли равносильно отнятию всяких нравственных мотивов у своих поступков. Наконец, соглашение, в котором, с одной стороны, выговорена абсолютная власть, а с другой — безграничное повиновение, есть пустое и противоречивое соглашение. Не ясно ли, что не обязываются ничем по отношению к тому, от кого имеют право требовать всего? И это единственное условие без эквивалента, без возмещения, не влечет ли за собой недействительности акта? В самом деле, какое право имел бы мой раб по отношению ко мне, раз все, чем он владеет, принадлежит мне и раз его право есть в то же время и мое право; а право, исходящее от меня и направленное против меня же, есть слово, не имеющее никакого смысла?

Другим основанием мнимого права рабства Гроций и другие считают войну. Так как, по их мнению, победитель имеет право убить побежденного, последний может купить себе жизнь ценою свободы; условие тем более законное, что оно выгодно для обоих.

Ясно, однако, что это мнимое право убивать побежденных ни в коем случае не вытекает из состояния войны. Уже по одному тому, что люди, живя в своей первоначальной независимости, не имеют между собой достаточно постоянных сношений, чтобы создать состояние мира или состояние войны,

они не являются естественными врагами друг друга. Войну создает отношение вещей, а не отношение людей; и так как состояние войны не может произойти из простых личных отношений, а только из отношений вещных, то война частная, т. е. война человека с человеком, не может существовать ни в состоянии естественном, где совсем нет постоянной собственности, ни в состоянии общественном, где все подчиняется власти законов.

Частные столкновения и поединки, стычки суть акты, не создающие состояния войны или мира; а что касается частных войн, разрешенных учреждениями Людовика IX, короля французского, и приостанавливаемых институтом божьего мира, то они составляли только злоупотребления феодального правительства, самой нелепой из когда-либо существовавших систем, противной одинаково и принципам естественного права и всякому благоустроенному государственному порядку.

Итак, война не есть отношение человека к человеку, но отношение государства к государству, в котором частные лица становятся врагами только случайно, не как люди вовсе и даже не как граждане*, а как солдаты; не как члены одного и того же отечества, а как его защитники. Наконец, каждое государство может иметь в качестве врагов только другие государства, а не людей, потому что между вещами различного рода нельзя установить никакого правильного соотношения.

Этот принцип находится в соответствии и с правилами, установленными во все времена, и с постоянной практикой всех цивилизованных народов. При объявлении войны имеется в виду предварить не столько власть, сколько поддан-

---

* Римляне, которые знали и почитали право войны более, чем какой-либо народ в мире, довели в этом отношении щепетильность так далеко, что ни одному гражданину не позволялось служить волонтером, если только он не вступил в армию для борьбы против врага и именно против определенного врага. Когда легион, в котором Катон-сын делал свой первый поход под начальством Попилия, был расформирован, Катон-отец написал Попилию, что если последний желает, чтобы его сын продолжал служить под его начальством, то нужно вновь привести его к военной присяге, так как, раз первая присяга уничтожена, он не может более выступать с оружием в руках против врага. И тот же Катон написал своему сыну, чтобы он не смел принимать участия в сражении, пока не принесет требуемой новой присяги. Я знаю, что мне могут указать на осаду Клузиума и другие частные факты; но я указываю на законы и обычаи. Римляне реже других нарушали свои законы, и у них одних были такие прекрасные законы.

ных. Иностранец, будь то король, частный человек, или народ, который грабит, убивает или берет в плен подданных без объявления войны государю,— не враг, а разбойник. Даже в самом разгаре войны справедливый государь овладевает, конечно, во вражеской стране всем, что принадлежит обществу; но он не трогает личности и имущества частных лиц; он относится с уважением к правам, на которых основаны его собственные права. Так как цель войны — разрушить неприятельское государство, то противник имеет право убивать защитников государства, пока у них имеется в руках оружие: но как только последние складывают его и сдаются в плен, переставая таким образом быть врагами или орудиями врага, они становятся вновь просто людьми, и противник не имеет более права на их жизнь. Иногда можно убить государство, не убивая ни одного из его членов; война же не предоставляет никакого другого права, кроме тех, которые необходимы для ее цели. Эти принципы не те, что у Гроция; они не основаны на авторитетах поэтов, но они проистекают из природы вещей и основаны на разуме.

Что касается права завоевания, то оно не имеет другого основания, кроме права более сильного. Если война не дает победителю права избивать побежденных, то это право, которого у него нет, не может служить основанием для права обращать их в рабство. Право убивать врага существует в том только случае, если невозможно превратить его в раба; значит, право обращать врага в раба не проистекает из права убить его: было бы, таким образом, несправедливо обманом заставлять врага покупать ценою свободы свою жизнь, на которую противник не имеет права. Не ясно ли, что, основывая право жизни и смерти на праве рабства, а право рабства — на праве жизни и смерти, мы впадаем в заколдованный круг?

Предполагая даже, что это ужасное право все убивать существует, я утверждаю, что военнопленный, превращенный в раба, или покоренный народ не обязан ничем по отношению к своему господину и должен повиноваться ему, только поскольку он вынуждается к этому. Отнимая у него ценность, равную его жизни, победитель вовсе не помиловал его: вместо того только, чтобы убить его бесполезно, он убил его с пользой для себя. Никакой иной власти, кроме власти силы, победитель не приобрел над пленным, состояние войны продолжает существовать между ними, как и раньше, и их отношения даже являются только следствием этого состояния; а применение права войны не предполагает существо-

вания мирного договора. Они заключили соглашение; пусть так, но это соглашение, вместо того чтобы уничтожить состояние войны, предполагает ее продолжение.

Итак, с какой точки зрения ни рассматривать вещи, право рабства ничтожно, и не только потому, что оно беззаконно, но и потому, что оно нелепо и ничего не означает. Слова *раб* и *право* противоречивы; они исключают одно другое. Все равно, обращается ли один человек к другому или человек к народу, всегда одинаково безумной была бы следующая речь: «Я заключаю с тобой соглашение, вся тяжесть которого ложится на тебя, а вся польза от которого принадлежит мне; это соглашение я буду соблюдать, доколе мне это угодно, и ты его будешь соблюдать тоже, доколе мне угодно».

ГЛАВА V

О ТОМ, ЧТО НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО ВОСХОДИТЬ ДО ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Если бы я согласился со всем, что я опровергал до сих пор, защитники деспотизма немного бы выиграли. Всегда будет существовать большая разница между порабощением массы и управлением обществом. Пусть отдельные люди будут последовательно порабощаться одним человеком, каково бы ни было их число, я все-таки вижу в данном случае только господина и рабов, но я не вижу народа и главы его: это, если угодно, агрегация, но не ассоциация; здесь нет ни общественного блага, ни политического тела. Этот человек, хотя бы он поработил полмира, остается тем не менее только частным лицом; его интересы, отделенные от интересов других, остаются только частными интересами. Если этот самый человек погибнет, его империя после его смерти останется рассеянной и ничем не связанной, как распадается и превращается в кучу пепла дуб, после того как его уничтожил огонь.

Народ, говорит Гроций, может отдать себя под власть короля. Итак, Гроций признает его народом и до его подчинения королю. Самое это подчинение — акт гражданского характера; он предполагает общественное обсуждение. Прежде чем рассматривать акт, в силу которого народ избирает короля, не мешает исследовать акт, посредством которого народ становится народом; ибо этот акт, необходимо предшествуя другому, составляет действительное основание общества.

В самом деле, если бы не было предварительного соглашения и если только избрание не было единогласным, откуда могло бы явиться обязательство, для меньшинства подчиниться выбору большинства? и по какому праву сто человек, которые хотят иметь повелителя, голосуют за тех десять человек, которые никакого повелителя иметь не желают? Самый закон большинства голосов установлен по соглашению и предполагает единогласие, хотя бы на один только раз.

ГЛАВА VI

ОБ ОБЩЕСТВЕННОМ ДОГОВОРЕ

Я предполагаю людей на той ступени, когда препятствия, мешающие сохранению их в естественном состоянии, берут перевес над силами, которые каждый индивид может приложить, чтобы удержаться в этом состоянии. При таких условиях первобытное состояние не может более существовать; и род человеческий погиб бы, если бы не изменил способа существования.

Но так как люди не могут создать новых сил, а могут только объединять и направлять силы, уже существующие, то у них не остается другого средства самосохранения, как образовать путем соединения сумму сил, которая могла бы преодолеть сопротивление, пустить эти силы в ход помощью единого двигателя и заставить их действовать согласно.

Эта сумма сил может возникнуть лишь благодаря совместному участию многих; но раз сила и свобода суть первые средства самосохранения для всякого человека, то каким же образом он может отдать и ту и другую, не вредя себе и не пренебрегая в то же время заботами о самом себе? Эта трудность, заключающаяся в предмете моего исследования, может быть выражена в следующих словах:

«Найти такую форму ассоциации, которая защищала бы и охраняла совокупной общей силой личность и имущество каждого участника и в которой каждый, соединяясь со всеми, повиновался бы, однако, только самому себе и оставался бы таким же свободным, каким он был раньше». Вот основная проблема, которую разрешает общественный договор.

Статьи этого договора настолько определены природою акта, что малейшее видоизменение сделало бы их пустыми и недействительными; поэтому, не будучи никогда,

может быть, формально выражены, они везде одинаковы, везде молчаливо допущены и признаны. Так продолжается вплоть до момента нарушения общественного договора; тогда всякий вновь вступает в свои первоначальные права и возвращает себе вновь свою естественную свободу, утратив свободу условную, для которой он отказался от первой.

Эти условия договора, правильно понятые, сводятся в сущности к одному условию, а именно, к полному отчуждению каждого члена со всеми своими правами в пользу всей общины (communauté), так как, во-первых, раз каждый отдает всего себя целиком, то условие оказывается одинаковым для всех, а раз условие одинаково для всех, ни у кого нет интереса делать его тягостным для других.

Кроме того, так как отчуждение производится без оговорок, то союз становится совершенным, насколько вообще он может быть таким, и ни у одного из участников нет более особых требований; ибо, если бы у отдельных личностей остались некоторые права, то, за отсутствием высшей власти, которая могла бы решать споры между ними и обществом, каждый, будучи в некоторых вопросах своим собственным судьей, скоро начал бы претендовать стать судьей во всех других вопросах. Таким образом естественное состояние продолжало бы существовать, и ассоциация по необходимости стала бы или тиранической или тщетной.

Наконец, каждый, отдавая себя всем, не отдает себя никому; и так как нет ни одного участника, по отношению к которому остальные не приобретают того же права, какое они ему уступают по отношению к себе, то каждый снова приобретает все, что он теряет, и приобретает больше силы для сохранения того, что он имеет.

Если, таким образом, мы устраним из общественного соглашения то, что не составляет его сущности, то мы найдем, что оно сводится к следующему:

Каждый из нас отдает свою личность и всю свою мощь под верховное руководство общей воли, и мы вместе принимаем каждого члена как нераздельную часть целого.

Вместо отдельной личности каждого договаривающегося этот акт ассоциации немедленно создает моральное и коллективное целое, составленное из стольких членов, сколько собрание имеет голосов, целое, которое получает путем этого самого акта свое единство, свое общее *я*, жизнь и волю. Эта общественная личность, составленная путем соединения всех

остальных личностей, получала в прежнее время название *гражданской общины**, а теперь называется *республикой* или *политическим телом*, которое именуется своими членами *государством*, когда оно пассивно, и *сувереном*, когда оно активно, *державой* — при сопоставлении ее с ей подобными. По отношению к участникам они коллективно принимают имя *народа*, а в отдельности называются *гражданами*, как участники суверенной власти, и *подданными*, как подчиненные законам государства. Но эти термины иногда смешиваются и принимаются один за другой; достаточно, однако, уметь их различать, когда они употребляются во всем точном их значении.

ГЛАВА VII

О СУВЕРЕНЕ

Эта формула показывает, что акт ассоциации заключает взаимное обязательство между обществом и частными лицами и что каждый индивид, заключая, так сказать, договор с самим собой, оказывается связанным двояко, а именно: как член суверена по отношению к частным лицам и как член государства по отношению к суверену. Но здесь неприменимо положение гражданского права, что никто не может быть связан обязательством, принятым по отношению к самому себе, потому что существует глубокая разница между

---

* Cité. Истинный смысл этого слова в наше время почти совершенно забыт. Многие считают город гражданской общиной и горожанина смешивают с гражданином. Они не знают, что город составляется из домов, а гражданскую общину составляют граждане. Это заблуждение когда-то дорого обошлось карфагенянам. Мне не приходилось читать, чтобы название cives давалось подданному какого-нибудь государя; даже у македонян этого не было, а в наши дни этого не существует и у англичан, хотя они и более близки к свободе, чем все остальные. Только французы довольно развязно называют себя гражданами, потому что они совершенно не понимают значения слова; это видно из их словарей. Если бы они, называя себя так, понимали смысл слова, то, узурпируя его, они совершали бы своего рода оскорбление величества. Это название у них означает не право, а добродетель. Когда Бодэн хотел говорить о наших гражданах и горожанах, он совершил большой промах, приняв одних за других. Д'Аламбер не ошибся и правильно различал в своей статье «Genève» четыре разряда (даже пять, если считать чужестранцев) людей, живущих в нашем городе, из которых только два составляют республику. Из других французских писателей, сколько я знаю, ни один не понял истинного смысла слова *гражданин*.

обязательством по отношению к самому себе и обязательством по отношению к целому, часть которого составляет обязывающийся.

Необходимо заметить еще, что общественным решением может быть установлено обязательство всех подданных по отношению к суверену, так как каждый из подданных рассматривается с различных точек зрения; но, по противоположному основанию, не может быть установлено обязательство для суверена по отношению к нему самому и что, следовательно, противно природе политического организма, чтобы суверен связал самого себя законом, которого он не мог бы нарушить. Так как суверен может рассматривать себя только в одном и том же и притом единственном отношении, то он оказывается в положении частного лица, вступающего в договор с самим собой; отсюда видно, что нет и не может быть никакого обязательного для совокупности народа основного закона; для него не обязателен даже общественный договор. Это не значит, однако, чтобы этот общественный организм не мог принять на себя обязательств по отношению к другим во всем, что не противоречит общественному договору; ибо по отношению к иностранцам он становится простым существом, индивидом.

Но политический организм или суверен, обязанный своим существованием только святости договора, не может никогда обязываться даже по отношению к другому ни в чем, что посягало бы на этот первоначальный акт, как, например, отчудить какую-нибудь часть самого себя или подчиниться другому суверену. Нарушить акт, благодаря которому он существует, значило бы уничтожить самого себя; а ничто и породить ничего не может.

Как только толпа объединилась таким образом в одно целое, нельзя оскорбить одного из ее членов, не нанося оскорбления целому, и тем более нельзя оскорбить целое, так чтобы этого не почувствовали все члены. Итак, и долг и интерес одинаково обязывают обе договаривающиеся стороны взаимно помогать друг другу; и одни и те же люди должны стремиться в двояком отношении объединить все преимущества, которые вытекают из этого взаимоотношения.

Суверен, будучи образован из составляющих его частных лиц, не имеет и не может иметь интересов, противоположных их интересам; поэтому подданные не нуждаются в гарантии против суверенной власти, ибо невозможно предположить, чтобы организм захотел вредить всем своим членам, и мы увидим ниже, что он не может вредить никому в от-

дельности. Суверен есть всегда то, чем он должен быть, по тому одному, что он существует.

Но дело обстоит не так с отношениями подданных к суверену; несмотря на общий интерес, ничто не ручалось бы за выполнение ими принятых на себя обязательств, если бы суверен не нашел средств обеспечить себе их верность.

В самом деле, каждый индивид, как человек, может иметь частную волю, противоположную или непохожую на общую волю, которую он имеет, как гражданин. Его частный интерес может подсказать ему нечто совершенно иное, чем интерес общий. Безусловность и естественная независимость его существования могут побудить его рассматривать то, что он должен уделить общему делу, как добровольную дань, потеря которой будет менее вредна для других, чем взнос ее тягостен для него; и если бы он рассматривал моральную личность, составляющую государство, как существо отвлеченное, потому что оно не человек, каждый индивид пользовался бы правами гражданина, не желая в то же время выполнять обязанности подданного; а развитие такой несправедливости привело бы к разрушению политического организма.

Поэтому, дабы это общественное соглашение не оказалось пустой формальностью, оно молчаливо заключает в себе следующее обязательство, которое одно только может придать силу другим обязательствам, а именно: если кто-нибудь откажется повиноваться общей воле, то он будет принужден к повиновению всем политическим организмом; а это означает лишь то, что его силой заставят быть свободным, так как соглашение в том и заключается, что, предоставляя каждого гражданина в распоряжение отечества, оно гарантирует его от всякой личной зависимости. Это условие составляет секрет и двигательную силу политической машины, и только оно одно делает законными гражданские обязательства, которые без этого были бы нелепыми, тиранническими и давали бы лишь повод к огромным злоупотреблениям.

ГЛАВА VIII

О ГРАЖДАНСКОМ СОСТОЯНИИ

Переход от естественного состояния к гражданскому производит в человеке весьма заметную перемену, заменяя в его действиях инстинкт — правосудием и сообщая его действиям нравственное начало, которого им прежде недоставало. Только тогда голос долга следует за физическим побуждением,

право — за желанием, и человек, обращавший до тех пор внимание только на самого себя, оказывается принужденным действовать согласно другим принципам и прислушивается к голосу разума, прежде чем повиноваться естественным склонностям. Хотя в состоянии общественном человек и лишается многих преимуществ, которыми он обладает в естественном состоянии, но зато он приобретает гораздо большие преимущества: его способности упражняются и развиваются, мысль его расширяется, чувства его облагораживаются, и вся его душа возвышается до такой степени, что, если бы злоупотребления новыми условиями жизни не низводили его часто до состояния более низкого, чем то, из которого он вышел, он должен был бы беспрестанно благословлять счастливый момент, вырвавший его навсегда из прежнего состояния и превративший его из тупого и ограниченного животного в существо мыслящее — в человека.

Сведем весь этот итог к легко сравнимым данным. Благодаря общественному договору человек теряет свою естественную свободу и неограниченное право на все, что его прельщает и чем он может овладеть; выигрывает же он гражданскую свободу и право собственности на все, чем он владеет. Чтобы не ошибиться в этих взаимных компенсациях, необходимо твердо различать естественную свободу, которая ограничена только силами индивида, от свободы гражданской, которая ограничена общей волей; необходимо различать также владение, которое является лишь следствием силы или есть простое право первого захватчика, от собственности, которая может быть основана только на положительном титуле.

Ко всему предшествующему активу гражданского состояния можно было бы прибавить моральную свободу, которая одна лишь делает человека господином над самим собой; потому что импульс одного только влечения равносилен рабству, а повиновение закону, предписанному самому себе, равносильно свободе.

Но я слишком уже долго остановился на этом пункте, а философское значение слова *свобода* не входит в предмет моего исследования.

ГЛАВА IX

О ВЛАДЕНИИ

Каждый член общины отдает себя последней в тот момент, когда она возникает, таковым, каким он является в

данное время; он отдает и себя и свои силы, часть которых составляет находящееся в его владении имущество. Это не значит, что благодаря указанному акту с переменой владельца изменяет свою природу и само владение и становится собственностью в руках суверена; но так как силы гражданской общины неизмеримо более велики, чем силы отдельного человека, то и общественное владение фактически точно так же более крепко и более неотъемлемо, чем владение частное, не будучи в то же время более законным, по крайней мере, для иностранцев. В самом деле, по отношению к своим членам государство становится хозяином всего их имущества в силу общественного договора, служащего в государстве основанием для всех прав, но с точки зрения других держав имущество подданных принадлежит государству только по праву первого захватчика,— праву, полученному им от частных лиц.

Право первого захватчика, хотя и более действительное, чем право сильного, становится, однако, истинным правом лишь по установлении права собственности. Всякий человек, естественно, имеет право на все, что ему необходимо; но положительный акт, который делает его собственником какого-нибудь имущества, лишает его права на все остальное. Раз его доля отмежевана, он должен ею ограничиться, и на общее имущество он уже более никакого права не имеет. Вот почему столь слабое в естественном состоянии право первого захватчика уважается всяким человеком, живущим в обществе. В этом праве люди уважают не столько то, что принадлежит другому, сколько то, что не принадлежит им.

В общем, для признания права первого захватчика на какой-нибудь участок необходимы следующие условия: во-первых, чтобы этот участок никем еще не был обитаем; во-вторых, чтобы захватчик занял только то количество земли, которое необходимо для его существования; и, в-третьих, овладение должно быть произведено не путем пустой церемонии, а посредством труда и обработки — единственного признака собственности, который за отсутствием юридических оснований должен быть уважаем другими лицами.

В самом деле, ограничить право первого захватчика пределами необходимости и труда не значит ли расширить это право насколько возможно далеко? Можно ли не ставить границ этому праву? Достаточно ли ступить на общий участок, чтобы считать себя тотчас же его хозяином? Достаточно ли иметь силу для отстранения на время других от владе-

ния, чтобы отнять у них этим самым право когда-либо вернуться на то же место? Каким образом один человек или целый народ могут овладеть огромной территорией и лишить возможности пользования ею весь род человеческий иначе, как путем достойной наказания узурпации, раз узурпация эта отнимает у других людей местопребывание и пищу, предоставленные природой сообща всему человечеству? Когда Нуньес Бальбоа, стоя на берегу моря, от имени кастильской короны принял под свою власть Южное море и всю Южную Америку, было ли этого достаточно, чтобы лишить всех жителей их владений и отнять у всех государей мира возможность претендовать на эти земли? Эти церемонии повторялись довольно тщетно, и католический король мог бы, сидя у себя в кабинете, сразу овладеть всем миром, с тем чтобы потом отделять от своей империи то, чем владели ранее другие монархии.

Отсюда можно понять, каким образом объединенные смежные земли частных лиц становятся государственной территорией и каким образом право суверенитета, простираясь не только на подданных, но и на землю, которую они занимают, становится одновременно вещным и личным; это ставит владельцев в гораздо большую зависимость и делает их собственные силы гарантией их верности. Древние монархи недостаточно, кажется, ценили это преимущество, так как, называясь только царями персов, скифов, македонцев, они, повидимому, смотрели на себя скорее как на повелителей людей, чем как на владык страны. Современные короли называют себя более ловко королями Франции, Испании, Англии и т. д.; владея, таким образом, землей, они уверены и во власти над жителями.

Особенность данного отчуждения заключается в том, что община, принимая имущества частных лиц, вовсе не обездоливает их, а, напротив, лишь обеспечивает за ними законное владение и превращает узурпацию в действительное право, а пользование — в собственность. Так как владельцы рассматриваются как хранители общественного достояния и так как права их уважаются всеми членами государства и охраняются всеми силами его против посягательств чужестранцев, то ясно, что благодаря передаче, выгодной для общества и еще более выгодной для самих владельцев, последние приобрели, так сказать, все то, что отдали; парадокс этот легко объясняется различием между правами суверена и правами собственника на одно и то же земельное владение, как это будет выяснено ниже.

Может также случиться, что люди начинают объединяться раньше, чем они овладеют чем-нибудь, и, овладев затем участком, достаточным для всех, они или пользуются им сообща, или делят участок этот между собой на равные доли, либо же по пропорциям, установленным сувереном. Но каким бы образом ни произошло это приобретение, право, которое каждый частный человек имеет на свое собственное земельное владение, всегда подчинено праву, которое община имеет на все владение; без этого не было бы ни прочности в общественной связи, ни действительной силы в осуществлении суверенитета.

Я закончу эту главу и эту книгу замечанием, которое должно служить основой для всей социальной системы, а именно: основное соглашение не только не разрушает естественного равенства, а, напротив, заменяет моральным и законным равенством то физическое неравенство между людьми, которое могла создать природа; люди, будучи неравны по силе и уму, становятся равными путем соглашения* и в силу права.

---

* При дурных правительствах равенство это только кажущееся и обманчивое; оно служит лишь для того, чтобы держать бедняка в нищете, а богачу обеспечить его узурпацию. По существу законы всегда полезны для владеющих и вредны для тех, у кого ничего нет; отсюда следует, что состояние общественное выгодно для людей, лишь поскольку все они чем-нибудь владеют и поскольку никто из них не владеет чем-нибудь в излишке.

КНИГА ВТОРАЯ

ГЛАВА I

О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕОТЧУЖДАЕМ

Первый и самый важный вывод из установленных выше принципов тот, что только общая воля может управлять силами государства сообразно с целью, для которой последнее учреждено и которая есть общее благо. Ибо если противоположность частных интересов создала необходимость в установлении обществ, то самое установление их стало возможным только путем соглашения тех же интересов. Что есть общего в различных частных интересах, то и образует общественную связь, и если бы не было такого пункта, в котором бы сходились все интересы, то никакое общество не могло бы существовать. Единственно на основании этого общего интереса общество и должно быть управляемо.

Я утверждаю, что суверенитет, будучи только осуществлением общей воли, не может никогда отчуждаться и что суверен, будучи не чем иным, как коллективным существом, может быть представлен только самим собой; власть может, конечно, передаваться, но не воля. В самом деле, если нет ничего невозможного в том, чтобы частная воля совпадала в каком-нибудь отношении с общей волей, то, во всяком случае, невозможно, чтобы это совпадение было продолжительным и постоянным, потому что частная воля, по самой своей природе, стремится к преимуществам, а общая воля — к равенству. Но еще более невозможно установить гарантию этого совпадения; хотя бы даже оно и существовало постоянно, это было бы результатом случая, а не искусства. Суверен может смело сказать: «я желаю в данный момент того, чего такой-то человек желает или, по крайней мере, выдает за свою волю», но он не может сказать: «то, чего

пожелает этот человек завтра, будет и моим желанием», так как было бы нелепо, чтобы воля связывала самое себя на будущее время, и так как ничью волю нельзя заставить дать согласие на что-либо, противное благу существа, которое обладает волею. Таким образом, если народ обещает просто повиноваться, он уничтожает себя этим актом и теряет свое свойство народа; раз есть повелитель, то нет более суверена, и политический организм разрушен.

Это не значит, однако, что приказания начальников не могут считаться выражениями общей воли, до тех пор пока суверен, имеющий возможность противостать этому, не противостает. В таком случае общее молчание должно быть понимаемо как согласие народа. Дальше это будет выяснено более подробно.

ГЛАВА II

О ТОМ, ЧТО СУВЕРЕНИТЕТ НЕДЕЛИМ

По тем же самым основаниям, по каким суверенитет неотчуждаем, он и неделим, ибо одно из двух: или воля всеобща*, или нет; или это воля всего народа, или это воля только части его. В первом случае эта объявленная всеобщая воля есть акт суверенитета и составляет закон; во-втором — это только частная воля или акт магистратуры (должностных лиц), самое большее — это декрет.

Но наши политики, не будучи в состоянии разделить суверенитет в его принципе, делят его в объекте; они делят его на силу и волю; на власть законодательную и власть исполнительную; на право обложения налогами, право суда и войны; на внутреннюю администрацию и на право вступать в договоры с иностранными державами: то они смешивают все эти составные части, то они их отделяют друг от друга; из суверена они делают какое-то фантастическое существо, составленное из различных кусков. Это похоже на то, как если бы они составляли человека из различных тел, из которых одно имело бы только глаза, другое только руки, третье только ноги. Говорят, что японские факиры разрубают на глазах зрителей ребенка на части, затем бросают в воздух

* Для того чтобы воля была всеобща, не всегда необходимо, чтобы она была единогласна; необходимо только, чтобы все голоса были сосчитаны; всякое формальное исключение уничтожает всеобщность.

все члены его один за другим, и ребенок падает на землю живым и целым. Таковы приблизительно и приемы наших политиков: расчленив достойным ярмарки фокусом социальное тело, они неизвестно каким образом собирают вновь куски.

Эта ошибка происходит оттого, что политики недостаточно уяснили себе сущность суверенной власти и сочли за составные части этой власти то, что было только ее проявлением. Так, например, акты объявления войны и заключения мира рассматривали как акты суверенитета; в действительности это не так; потому что каждый из этих актов не есть вовсе закон, а лишь одно из применений закона, частный акт, являющийся случаем применения закона, как это будет ясно видно, когда будет выяснена идея, связанная со словом *закон*.

Разбирая точно так же другие деления, можно заметить, что ошибаются каждый раз, когда думают найти суверенитет разделенным; права, которые считают частями этого суверенитета, все подчинены ему и предполагают существование верховной воли, выполнением велений которой и являются эти права.

Нельзя и представить себе, насколько эта неточность затемнила выводы писателей по политическому праву, когда они стали судить на основании установленных ими принципов о взаимных правах королей и народов. Каждый может заметить в третьей и четвертой главах первой книги Гроция, как этот ученый муж и его переводчик Барбейрак запутываются и сбиваются в своих софизмах из боязни сказать по их соображениям или слишком много или слишком мало и из боязни столкнуть интересы, которые они хотели согласовать. Гроций, недовольный своим отечеством, бежавший во Францию и желавший угодить Людовику XIII, которому и посвящена его книга, не щадит усилий, чтобы отнять у народов все их права и чтобы снабдить этими правами королей. Таково же было известное желание Барберака, который посвятил свой перевод английскому королю Георгу I. Но, к несчастью, изгнание Якова II, которое Барберак называет отречением, заставило его быть осторожным, не договаривать, вилять, для того чтобы не сделать из Вильгельма Оранского узурпатора. Если бы эти писатели держались правильных принципов, все трудности были бы устранены, и они сказали бы тогда правду и могли бы понравиться только народу. Истина, однако, не ведет к богатству, а народ не дает ни посольства, ни кафедр, ни пенсий.

ГЛАВА III

МОЖЕТ ЛИ ОБЩАЯ ВОЛЯ ОШИБАТЬСЯ

Из предыдущего следует, что общая воля всегда справедлива и стремится к общественному благу, но из этого не следует, что решения народа всегда одинаково правильны. Всегда хотят собственного блага, но не всегда его ясно видят. Подкупить народ нельзя, но его можно обмануть, да и то только тогда, когда можно думать, что он хочет недоброго.

Часто существует большое различие между волей всех и общей волей; последняя имеет в виду только интересы общие; первая, составляющая лишь сумму воль отдельных людей,— интересы частные; но отнимите от суммы этих самых воль крайние в одну и в другую сторону, взаимно друг друга уничтожающие*, и остаток даст вам общую волю.

Если бы в то время, когда решение принимает достаточно сознательный народ, граждане не имели никаких сношений между собой, то из большого числа незначительных различий проистекла бы всегда общая воля, и решение было бы всегда правильным. Но когда, в ущерб великой ассоциации, образуются партии и частичные ассоциации, то воля каждой из последних становится общей по отношению к своим членам и частной по отношению к государству; можно в таком случае сказать, что голосующих уже не столько, сколько людей, а лишь сколько ассоциаций. Различия становятся менее многочисленными и дают менее общий результат. Наконец, когда одна из этих ассоциаций настолько велика, что она оказывается сильнее всех остальных, то результат есть уже не сумма небольших различий, но одно единственное различие; и тогда общей воли не существует, и мнение, которое побеждает, есть только частное мнение.

Чтобы получить проявление общей воли, очень важно, следовательно, чтобы в государстве не было отдельных

---

* «Каждый интерес, — говорит маркиз д'Аржансон, — руководится различными принципами. Соглашение двух частных интересов образуется по противоположности их интереса — интересу третьего лица». (См. «Les considérations sur le gouvernement de la France», ch. II). Он мог бы добавить, что соглашение всех интересов образуется по противоположности интересу каждого отдельного человека. Если бы не было совсем различных интересов, то вряд ли был бы понят интерес общий, который не встречал бы тогда никаких препятствий; все шло бы само собой, и политика перестала бы быть искусством.

обществ и чтобы каждый гражданин решал только по своему усмотрению*. Таково было единственное в своем роде и возвышеннейшее установление великого Ликурга. Если же отдельные общества существуют, то число их надо увеличить и предупредить таким образом неравенство между ними, как сделали Солон, Нума, Сервий. Эти предосторожности — единственно пригодные для того, чтобы общая воля была всегда осведомленной и чтобы народ не ошибался.

ГЛАВА IV

О ПРЕДЕЛАХ СУВЕРЕННОЙ ВЛАСТИ

Если государство, или община, есть только моральная личность, жизнь которой заключается в объединении членов ее, и если наиболее важной его заботой является собственное сохранение, то ему нужна общая и побудительная сила, чтобы двигать и располагать каждой частью наиболее удобным для целого образом. Как природа дает каждому человеку абсолютную власть над всеми его членами, так общественный договор дает политическому организму абсолютную власть над всеми членами последнего; эта-то власть, управляемая общей волей, называется, как я уже сказал, суверенитетом.

Но кроме личности общественной мы должны рассмотреть составляющие ее частные личности, жизнь и свобода которых, естественно, независимы от нее. Необходимо поэтому тщательно отличать как взаимные права граждан и суверена**, так и обязанности, которые должны выполнять первые в качестве подданных, от естественного права, которым они должны обладать в качестве людей.

---

* «Vera cosa è ,— говорит Маккиавелли,— che alcuni divisioni nuocono alle republiche, e alcune giovano: quelle nuocono che sono dalle sette e da partigiani accompagnate: quelle giovano che senza sette senza partigiani, si mantengono. Non potendo adunque provedere un fondatore d' una republica, che non siano nimicizie in quella, hà da proveder almeno che non vi siano sette». «Istorie Fiorentine», L. VII.

(«Действительно, одни разделения вредят, а другие — полезны республикам: вредны те, которые связаны с сектами и партиями, а полезны те, которые держатся без партий и сект. Поэтому основатель республики, не будучи в силах предупредить в ней проявления вражды, должен по крайней мере предупредить в ней образование сект»).

** Не спешите, пожалуйста, внимательные читатели, обвинять меня в противоречии. Я не мог избежать противоречия в терминах исключительно благодаря бедности языка; но подождите!

Надо согласиться, что все то, что в силу общественного договора каждый отчуждает из своих сил, имущества и свободы, является только частью всего того, что необходимо общине; но надо также согласиться и с тем, что только суверен может судить о том, что ей необходимо.

Все услуги, которые гражданин может оказать государству, он должен оказать по первому требованию суверена; но и суверен, с своей стороны, не может налагать на подданных никаких оков, если это бесполезно для общества; он не может даже хотеть этого, потому что под действием закона разума, как и под действием естественного закона, ничего не делается без причины.

Обязательства, связывающие нас с общественным организмом, необходимы лишь потому, что они взаимны, и их природа такова, что, выполняя их, нельзя работать для другого, не работая в то же время и для самого себя. Общая воля всегда права, и все постоянно хотят счастья каждого из граждан только потому, что нет человека, который не относил бы к себе этого слова *каждый* и который не думал бы о себе, голосуя за всех. Это доказывает, что равенство в правах и сознание справедливости, из него вытекающее, происходят из предпочтения, отдаваемого каждым самому себе, и, следовательно, проистекают из существа человеческой природы; что общая воля, чтобы быть таковой, должна быть общей и в отношении своего объекта и в отношении своей сущности, что она должна исходить от всех, чтобы быть применяемой ко всем, и что она теряет свою естественную правоту, когда она направлена на какой-нибудь определенный и индивидуальный объект, потому что в таком случае, произнося суждение о том, что нам чуждо, мы перестаем руководиться истинным принципом справедливости.

В самом деле, вопрос становится спорным, как только дело идет о факте или частном праве по вопросу, который не был предварительно регулирован общим соглашением. В таком случае возникает как бы процесс, где заинтересованные частные лица являются одной стороной, а общество — другой, но где я не вижу ни закона, которому должно следовать, ни судьи, который должен принять решение. Было бы смешно желать при этом ссылаться на специальное для данного случая решение общей воли, которая может быть только решением одной из сторон и которая, следовательно, для другой стороны являлась бы только волей чуждой, частной, склонной в данном случае к несправедливости и ошибкам. Поэтому как частная воля не может представлять об-

щую волю, так и общая воля, имея своим объектом частный случай, меняет свою природу и не может как воля общая принимать решения ни относительно отдельного человека, ни относительно отдельного факта. Когда, например, афинский народ назначал или сменял своих начальников, награждал почестями одного, налагал наказания на другого и путем бесчисленного количества частных декретов выполнял без различия все правительственные акты, то у этого народа, собственно говоря, общей воли уже не было: он действовал в этих случаях не как суверен, а как правительство. Это покажется противоречащим общераспространенному мнению; но пусть мне дадут время изложить мое собственное.

Отсюда необходимо вывести заключение, что волю делает общей не столько количество голосов, сколько общий интерес, который объединяет их, так как при этом установлении каждый по необходимости подчиняется условиям, которые он предписывает другим. Удивительное сочетание интереса и справедливости! Оно придает характер справедливости решениям общим. Напротив, справедливость эта исчезает при обсуждении всякого частного дела за отсутствием общего интереса, который бы объединял и отождествлял положение судьи с положением стороны.

С какой бы стороны мы ни подошли к основному принципу, мы всегда придем к одному и тому же заключению, а именно: общественный договор устанавливает между всеми гражданами такое равенство, что они вступают в соглашение на одних и тех же условиях и должны все пользоваться одними и теми же правами. Таким образом, из самой природы договора вытекает, что всякий акт суверенитета, т. е. всякий подлинный акт общей воли, обязывает или благодетельствует одинаково всех граждан, так что верховная власть знает только совокупность народа и не делает различия между теми, кто ее составляет. Что же собственно такое акт суверенитета? Это не есть соглашение начальника с подчиненным, но соглашение целого с каждым из его членов, соглашение законное, потому что оно покоится на общественном договоре, справедливое, потому что оно относится ко всем, полезное, потому что предметом его не может быть что-либо иное кроме общего блага, и прочное, потому что оно обеспечено общественной силой и верховной властью. И пока подданные подчинены только такого рода соглашениям, они не повинуются никому кроме своей собственной воли. Спрашивать поэтому, до какого предела простираются взаимные права суверена и граждан, это значит спрашивать, до

какого предела последние могут обязывать самих себя, каждый по отношению ко всем и все по отношению к каждому.

Отсюда очевидно, что, как бы ни была суверенная власть абсолютна, священна и неприкосновенна, она не может все-таки переступить и не переступает границ общих соглашений и что всякий человек может всецело располагать из своего имущества и свободы тем, что данными соглашениями оставлено в его распоряжении; так что суверен ни в коем случае не вправе отягощать одного подданного более, чем другого, потому что дело переходит тогда на частную почву и власть суверена уже не компетентна.

Раз мы допустим эти различия, то было бы неправильно утверждать, что общественный договор обусловливает какое-либо действительное отречение со стороны частных лиц; в сущности же положение последних, благодаря действию этого договора, становится гораздо более выгодным, чем оно было раньше, так как вместо отчуждения они сделали только выгодный для себя обмен; неопределенное и необеспеченное существование они заменили лучшим и более безопасным; естественную независимость — свободой, возможность вредить другим — своей собственной безопасностью, и свою силу, которую другие могли преодолеть,— правом, которое общественный союз делает непобедимым. Даже жизнь, которую они посвятили государству, постоянно охраняется последним; и если они рискуют ею для защиты государства, то разве они не возвращают ему только то, что они от него же и получили? Разве в таком случае они не делают то же самое, что они должны были бы делать и с гораздо большим риском в естественном состоянии, когда, вступая в неизбежную борьбу, они защищали с опасностью для жизни то, что служит для ее сохранения? Верно, что все в случае необходимости должны сражаться за отечество, но зато никто не должен сражаться для защиты самого себя. Разве нельзя считать выигрышем то, что для защиты собственной безопасности нам приходится рисковать только частью того, чем нам пришлось бы рисковать, если бы безопасность эта была у нас отнята?

ГЛАВА V

О ПРАВЕ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

Возникает вопрос, как могут частные люди, не имея права располагать собственной жизнью, передать суверену право,

которого у них нет? Этот вопрос кажется трудно разрешимым только потому, что он неправильно поставлен. Каждый человек имеет право рисковать своей жизнью для ее сохранения. Разве можно сказать, что человек, бросающийся из окна, чтобы спастись от пожара, виновен в самоубийстве? Разве обвиняли когда-либо в этом преступлении того, кто погибает во время бури, опасность которой он сознавал при отплытии?

Общественный договор имеет целью сохранение договаривающихся. Кто одобряет цель, тот одобряет и средства, ведущие к цели, а эти средства связаны безусловно с некоторым риском, даже с некоторыми потерями. Кто хочет сохранить свою жизнь при помощи других, должен также отдать ее за других, когда это нужно. Гражданин уже не может быть судьей опасности, которой закон велит ему подвергнуться, и когда государь говорит ему: «для государства необходимо, чтобы ты умер», он должен умереть, так как только под этим условием он жил до сих пор в безопасности и так как жизнь его не есть уже только благодеяние природы, но условный дар государства.

Смертную казнь, применяемую к преступникам, можно рассматривать почти с той же точки зрения: чтобы не стать жертвами убийцы, люди соглашаются умереть, если сами становятся убийцами. В этом договоре заключающие его вовсе не располагают своею жизнью, а думают только о ее сохранении, и вряд ли можно считать, чтобы кто-нибудь из них вперед соглашался на то, чтобы его повесили.

Впрочем, каждый преступник, нападая на общественное право, становится благодаря своим преступлениям бунтовщиком и изменником отечества; нарушая законы последнего, он перестает быть его членом; он даже вступает с ним в войну. В таком случае сохранность государства становится несовместимой с сохранностью преступника; необходимо, чтобы один из них погиб; и когда казнят виновного, то его лишают жизни скорее как врага, чем как гражданина. Судебный процесс и приговор суть доказательства и объявление того, что преступник нарушил общественный договор и, следовательно, не состоит более членом государства. И раз он признавал себя раньше таковым, по крайней мере, своим пребыванием в обществе, он должен быть извергнут из него путем изгнания как нарушитель договора или путем смертной казни как враг общества; ибо такой враг не моральная личность, а человек: и тогда-то право войны позволяет убить побежденного.

Но, скажут, осуждение преступника есть частный акт. Согласен, и потому-то осуждение не относится вовсе к функциям суверена; это право, которое суверен может передавать другим, не имея возможности осуществлять его сам. Все мои идеи взаимно связаны, но я не могу их изложить все сразу.

В конце концов, частое повторение казней есть всегда признак слабости или бездеятельности правительства. Нет такого испорченного человека, который не годился бы на что-нибудь. Даже для примера другим можно умерщвлять лишь того, кого нельзя сохранить в живых без опасности для общества.

Что касается права помилования или освобождения виновного от наказания, назначенного законом и указанного судьей, то право это принадлежит только тому, кто выше и судьи и закона, т. е. суверену; да и то принадлежащее ему право помилования недостаточно определенно, и случаи применения его очень редки. В хорошо управляемом государстве приходится мало применять наказания не потому, что в нем часто милуют, а потому, что в нем мало преступников; когда же государство погибает, то увеличивающееся в огромной степени количество преступлений обеспечивает их безнаказанность.

Во времена Римской республики ни сенат, ни консулы не пытались миловать; даже народ не прибегал к праву помилования, хотя он часто и отменял сам свой собственный приговор. Частые помилования указывают на то, что в скором времени преступники более не будут нуждаться в помиловании, а каждый понимает, к чему это приводит. Но я чувствую, как сердце мое ропщет и удерживает мое перо: предоставим обсуждение этих вопросов справедливым людям, которые никогда не грешили и которые сами никогда не нуждались в прощении.

ГЛАВА VI

О ЗАКОНЕ

Общественным договором мы дали бытие и жизнь политическому организму; теперь необходимо дать ему движение и волю посредством законодательства, потому что первоначальный акт, посредством которого этот организм образуется и объединяется, не определяет нисколько того, что он должен предпринять, чтобы сохранить свое существование.

Все хорошее и согласное с порядком является таковым по природе вещей и независимо от человеческих соглашений. Справедливость исходит от бога, он один источник ее; но если бы мы умели получать ее свыше, то мы не нуждались бы ни в правительстве, ни в законах. Без сомнения, есть одна абсолютная всеобщая справедливость, проистекающая исключительно из разума, но эта справедливость, чтобы иметь возможность осуществляться среди нас, должна быть взаимной. Если рассматривать вещи с точки зрения человеческой, то при отсутствии естественной санкции законы справедливости неприменимы среди людей; они служат лишь ко благу злого и ко злу справедливого, коль скоро последний соблюдает их в отношении всех, тогда как никто не соблюдает этих законов в отношении к нему. Итак, для того чтобы соединить права с обязанностями и осуществлять справедливость, необходимы соглашения и законы. В естественном состоянии, когда все общее, я не обязан ничем по отношению к тем, кому я ничего не обещал; я признаю принадлежащим другому только то, что для меня бесполезно. Не так обстоит дело в состоянии общественном, где все права определены законом.

Но что же такое, наконец, закон? До тех пор пока будут ограничиваться тем, что с этим словом будут связывать исключительно метафизические идеи, будут продолжать рассуждать, не понимая друг друга, и если даже будет определено, что такое закон природы, то все-таки останется совершенно неизвестным, что такое закон государственный.

Я уже сказал, что не может быть общей воли, направленной на частный объект. В самом деле, этот частный объект может быть или в государстве, или вне государства. Если он вне государства, то чуждая для него воля не может быть общей по отношению к нему; а если этот предмет находится в государстве, то он составляет часть его: тогда между всем и его частью устанавливается отношение, делающее из них два отдельных существа, из которых одно составляет часть, а другое — целое за исключением этой части. Но целое за исключением части не есть уже целое; и пока это отношение существует, нет более целого, а есть только две неравные части; отсюда следует, что воля одной части не может более считаться общей волей по отношению к другой части.

Но когда весь народ устанавливает что-либо относительно всего народа, тогда он имеет дело только с самим собой; и если тогда образуется отношение, то оно устанавливается между целым объектом, рассматриваемым с одной точки зрения, и целым же объектом, только рассматриваемым с другой

точки зрения, без какого бы то ни было разделения этого целого. И тогда предмет, относительно которого делается постановление, так же общ, как и воля, которая постановляет. Этот-то акт я и называю законом.

Когда я утверждаю, что предмет законов всегда общ, то я подразумеваю под этим, что закон рассматривает подданных как составляющих одно целое, а действия,— как отвлеченные; никогда закон не касается ни человека как индивида, ни частного поступка. Так, закон может, конечно, установить привилегию, но он не может дать привилегий поименно тому-то или тому-то; закон может разделить граждан на несколько классов, может даже обозначить признаки, которые дают право на принадлежность к этим классам, но он не может зачислять данных граждан в тот или другой класс; закон может учредить королевское правительство и наследственную преемственность, но он не может ни избрать короля, ни назначить династии; одним словом, всякая функция, которая относится к индивидуальному объекту, не есть дело законодательной власти.

Из этого определения сразу видно, что нет нужды спрашивать ни о том, кто должен издавать законы, так как они являются актами общей воли; ни о том, стоит ли государь выше законов, так как он член государства; ни о том, может ли быть закон несправедлив, потому что никто не может быть несправедливым по отношению к самому себе; ни о том, как можно быть одновременно и свободным и подчиненным законам, так как последние только регистрируют нашу волю.

Понятно также и то, что повеления, делаемые одним человеком, кто бы он ни был, от своего имени, не суть законы, так как закон соединяет всеобщность воли с всеобщностью объекта. Даже то, что постановляет верховная власть относительно частного предмета, не есть ни в коем случае закон, а лишь декрет. Это акт не суверенитета, а администрации.

Итак, я называю республикой всякое государство, управляемое законами, какова бы ни была форма управления, потому что только в этом случае управляет общественный интерес и общественное дело имеет какое-нибудь значение. Всякое законное правительство есть правительство республиканское *: я объясню ниже, что такое правительство.

---

* Я разумею под этим словом не только аристократию или демократию, но вообще правительство, руководимое общей волей, которая есть закон. Чтобы быть законным, вовсе не нужно, чтобы

Собственно говоря, законы суть только условия гражданского общежития. Народ, подчиненный законам, должен быть и автором этих законов; только те, которые вступают в союз, должны регулировать его условия. Но каким образом урегулируют они их? Произойдет ли это по общему соглашению или по внезапному вдохновению? Имеет ли политический организм орган для выражения своей воли? Кто наделит его необходимой предусмотрительностью для создания решений и их обнародования в соответствующее время? Или как возвестит он эти акты в тот момент, когда это будет нужно? Каким образом слепая толпа, часто не знающая, чего она хочет, потому что она редко сознает то, что для нее хорошо, выполнит сама по себе такое большое и такое трудное дело, как система законодательства? Сам по себе народ хочет всегда блага, но сам он не всегда его различает. Общая воля всегда права, но суждение, которое руководит ею, не всегда просвещенно. Нужно показать ей предметы такими, каковы они в действительности, иногда такими, какими они должны ей казаться: нужно указать ей правильный путь, который она ищет, гарантировать ее от увлечения волей отдельных лиц, приблизить к ее глазам место и время и уравновесить привлекательность наличных и ощутимых для нее преимуществ опасностью скрытых и отдаленных зол. Отдельные лица видят отвергаемые ими блага; общество стремится к благу, которого оно не видит. Все одинаково нуждаются в проводниках. Надо заставить одних согласовать их волю с разумом, а иного научить узнавать то, чего он хочет. Тогда просвещенное общественное сознание создаст в социальном организме единство понимания и воли, отсюда же явится правильное соревнование частей и, наконец, величайшая сила целого. Вот откуда возникает необходимость в законодателе.

ГЛАВА VI

О ЗАКОНОДАТЕЛЕ

Чтобы найти наилучшие правила общественной жизни для народов, был бы нужен высший разум, который видел бы все человеческие страсти и не испытывал бы ни одной из них, который не имел бы никакого отношения к нашей природе и

правительство сливалось с сувереном, но чтобы оно управляло от его имени: тогда даже монархия становится республикой. Это будет объяснено в следующей книге.

в то же время в совершенстве знал бы ее, счастье которого было бы независимо от нас и который в то же время охотно заботился бы о нашем счастье, который, наконец, уготовляя себе отдаленную славу в будущем, мог бы работать в одном веке и видеть результаты своих трудов в другом*. Нужны боги, чтобы давать законы людям.

Калигула применил к факту то же рассуждение, которое Платон применял к праву, чтобы определить свойства того гражданского или царственного человека, которого он ищет в своей книге о *царстве*. Но если верно, что великий государь — редкость, то какая еще бо́льшая редкость — великий законодатель. Первый должен только следовать тому образцу, который должен выработать другой; один — тот механик, который изобретает машину, другой — только рабочий, который собирает ее и пускает в ход. «При возникновении обществ,— говорит Монтескье,— главы республик создают учреждения, но потом учреждения образуют глав республик».

Тот, кто задается смелой мыслью дать учреждения народу, должен чувствовать в себе силы для изменения, так сказать, человеческой природы, для превращения всякого индивида, который сам по себе составляет совершенное и одинокое целое, в часть более великого целого, от которого этот индивид получает некоторым образом обратно свою жизнь и свое существование. Он должен уметь изменить склад человека, чтобы его укрепить; заменить частичным и нравственным существованием физическое и независимое существование, которое мы все получили от природы. Одним словом, необходимо, чтобы он отнял у человека его собственные силы и заменил их силами ему чуждыми, применять которые человек не мог бы без посторонней помощи. Чем более эти естественные силы умерщвлены и уничтожены, чем значительнее и постояннее силы приобретенные, тем более крепко и совершенно созданное учреждение: так что если каждый гражданин сам по себе ничто и не может ничего сделать иначе, как через посредство всех остальных, и если приобретенная целым сила равна или больше суммы естественных сил всех индивидов, тогда можно сказать, что законодательство достигло наивысшего совершенства, какого только оно может достигнуть.

Законодатель во всех отношениях есть лицо чрезвычайное в государстве. Если он должен быть таким по своему гению,

---

* Народ становится знаменитым только тогда, когда его законодательство начинает клониться к упадку. Нам неизвестно, в течение скольких веков учреждения Ликурга служили ко благу спартанцев, прежде чем о них заговорили в остальной Греции.

то в неменьшей степени он таков по своему назначению. Последнее не есть ни функция правительства, ни суверенитет. Эта функция, которая кладет основание республики, не входит в ее конституцию. Это — особенная и высшая функция, которая не имеет ничего общего с человеческим владычеством, потому что, если тот, кто повелевает людьми, не должен повелевать законами, то, с другой стороны, и тот, кто повелевает законами, не должен повелевать людьми; иначе его законы, слуги его страстей, часто лишь увековечат его несправедливости, и никогда он не сумеет избежать того, чтобы частные интересы не извратили святости его труда.

Когда Ликург дал законы своему отечеству, он начал с того, что отрекся от царской власти. В большинстве греческих городов обычным явлением было доверять иностранцам установление законов. Современные итальянские республики часто подражали этому обычаю; точно так же поступила Женевская республика, и хорошо сделала *.

В лучшие времена Рим видел, как возникли в его среде все преступления тирании, и был близок к гибели, потому что он соединил в одних и тех же руках законодательную и суверенную власти. Тем не менее, даже и децемвиры никогда не присваивали себе права издавать законы только собственною властью. «Ничто из того, что мы вам желаем,— говорили они народу,— не может стать законом без вашего согласия. Будьте сами, римляне, авторами законов, которые должны составить ваше счастье».

Тот, кто сочиняет законы, не имеет или не должен иметь никакой законодательной власти, и народ сам не может, даже если бы он этого захотел, лишить себя неотчуждаемого права издавать законы, потому что, согласно основному договору, только общая воля может обязывать отдельных лиц; а нельзя никогда быть уверенным в том, что отдельная воля согласна с общей волей, ранее чем эта отдельная воля не будет подвергнута свободному голосованию народа; я уже сказал это, но считаю небесполезным повторить то же самое.

Итак, в деле законодательства мы находим две стороны, которые кажутся несовместимыми: задачу, превосходящую

---

* Те, кто видят в Кальвине только теолога, мало знают широту его гения. Редакция наших мудрых эдиктов, в которой он принимал большое участие, делает ему столько же чести, сколько и его установления. Какие бы перевороты время ни произвело в нашем культе, до тех пор пока не исчезнет среди нас любовь к отечеству и свободе, память этого великого человека не перестанет быть благословляемой.

3*

человеческие силы, а для ее выполнения — авторитет, который есть ничто.

Еще одна трудность заслуживает внимания. Мудрецы, которые хотели бы заговорить с простым человеком своим языком, вместо того чтобы говорить с ним его языком, не могли бы заставить себя понять. Между тем есть тысяча разнообразных идей, которые невозможно передать на народном языке. Слишком общие взгляды и слишком отдаленные предметы точно так же выше народного понимания: каждый индивид, одобряя только тот план правительства, который имеет отношение к его частным интересам, с трудом понимает преимущества, которые он должен извлечь из постоянных лишений, налагаемых на него хорошими законами. Для того чтобы возникающий народ мог одобрить мудрые максимы политики и следовать основным правилам государственного разума, необходимо, чтобы следствие могло стать причиной; чтобы общественный дух, который должен быть создан учреждением, предшествовал ему и чтобы люди были до законов такими, какими должны их сделать законы. Итак, законодатель, не будучи в состоянии пустить в ход ни силу, ни рассуждение, по необходимости прибегает к власти другого порядка, которая может увлечь без насилия и убедить без убеждения.

Вот что принуждало во все времена отцов наций прибегать к вмешательству неба и наделять богов собственною мудростью, дабы народы, подчиняясь законам государства, как законам естественным, и признавая, что та же власть, которая создала человека, создала и гражданскую общину, повиновались свободно и покорно несли бы иго общественного благополучия.

Этот высший разум, который находится вне сферы понимания заурядных людей, и есть тот разум, решение которого законодатель влагает в уста бессмертных, чтобы увлечь авторитетом божества тех, на кого не могло бы подействовать человеческое благоразумие*. Но не всякий человек может

---

* «E veramente,— говорит Маккиавелли,— mai non fù alcuno ordinatore di leggi straordinarie in un popolo, che non ricorresse à Dio, perche altrimenti non sarebbero accettate; perche sono molti beni conosciuti da uno prudente; i quali non hanno in se raggioni evidenti da potergli persuadere ad altrui». «Discorsi sopra Tito Livio» l. I, c. XI.

(«В самом деле, не было ни одного учредителя чрезвычайных законов какого-либо народа, который бы не прибегнул к богу, так как иначе законы эти не были бы приняты, ибо есть много благ, которые сознаются мудрецом, но которые недостаточно очевидны, чтобы убедить других».)

заставить говорить богов, ни заставить верить себе, когда он объявляет себя их толкователем. Великая душа законодателя есть единственное чудо, которое должно доказывать его миссию. Каждый человек может вырезать на камнях таблицы, или подкупить оракул, или делать вид, что он имеет таинственное сношение с божеством, или выдрессировать птицу, чтобы говорить с ней на ухо, или найти другие грубые средства для влияния на народ. Тот, кто сумеет сделать только это, может случайно собрать стадо безумцев, но никогда не сумеет основать государство, и его экстравагантный труд погибнет скоро вместе с ним. Пустые обманы образуют скоропреходящую связь, только мудрость делает эту связь длительной. Иудейский закон, существующий и поныне, закон сына измаилова, который вот уже 10 веков управляет половиной мира, доказывают еще и теперь, что их создали великие люди, и тогда как гордая философия или слепой партийный дух видят в этих людях только счастливых обманщиков — истинный политик удивляется в их созданиях великому и могучему гению, который присутствует в долговечных учреждениях.

Не следует, однако, заключать отсюда вместе с Варбуртоном, что политика и религия имеют для нас общий объект, а только то, что при рождении нации религия служит орудием политики.

ГЛАВА VIII

О НАРОДЕ

Подобно тому как архитектор, прежде чем построить большое здание, изучает и зондирует почву, чтобы узнать, может ли она выдержать тяжесть здания, так и мудрый законодатель не начинает с написания хороших законов, а исследует предварительно, сможет ли народ, для которого он эти законы предназначает, вынести их. Вот почему Платон отказался дать законы аркадянам и киренейцам, зная, что оба эти народа были богаты и не потерпели бы равенства; вот почему на Крите были хорошие законы и дурные люди: Минос пытался подчинить порядку народ, отягощенный пороками.

Тысяча наций, которые никогда не потерпели бы хороших законов, блистали на земле, и даже те, которые могли бы управляться хорошими законами, за все время своего существования имели их лишь очень короткое время. Большая часть народов, как и людей, покорны только в юности; старея,

они становятся неисправимыми. Раз обычаи установились и предрассудки укоренились, было бы опасным и бесполезным предприятием их реформировать. Подобно глупым и трусливым больным, которые дрожат при виде врача, народ не может вынести даже прикосновения к своим язвам, хотя бы и с целью их уничтожения.

Как некоторые болезни производят переворот в головах людей и отнимают у них память о прошедшем, так и в течение жизни государств встречаются иногда бурные эпохи, когда революции производят на народы то же действие, какое известные кризисы производят на отдельных индивидов, когда ужас прошлого заменяет забвение, и государство, охваченное междоусобными войнами, возрождается, так сказать, из собственного пепла и вновь приобретает силу юности, вырвавшись из рук смерти. Таково было состояние Спарты во времена Ликурга, таково было состояние Рима после Тарквиниев, а в наше время — Голландии и Швейцарии после изгнания тиранов.

Но такие события редки; это — исключения, причины которых лежат всегда в особенном устройстве такого исключительного государства. События эти не могут даже повториться два раза среди одного и того же народа, потому что народ может стать свободным до тех пор, пока он еще народ варварский; но он уже не может стать свободным, когда иссяк дух гражданственности. В таких случаях смуты могут совершенно его уничтожить, и революция не в силах его восстановить. И как только оковы такого народа разбиты, он распадается и более не существует; отныне ему нужен повелитель, а не освободитель. Свободные народы, помните следующее правило: «можно завоевать свободу, но вновь приобрести ее нельзя никогда».

Юность — не детство. У народов, как и у людей, есть юношеский период, или, если угодно, период зрелости, которого надо ждать, прежде чем подчинить их законам. Но зрелость народа не всегда легко распознать, и если она вызывается преждевременно, то весь труд пропал. Один народ способен к дисциплине при самом своем рождении, другой не становится таким и по истечении десяти веков. Русские никогда не будут народом истинно цивилизованным, потому что их цивилизовали слишком рано. Петр имел только подражательный гений; истинного гения, который создает и делает все из ничего, у него не было. Некоторые из проведенных им реформ были сделаны хорошо, бо́льшая же часть была неуместна. Он видел, что его народ — народ варварский,

ню он не видел того, что он не зрел для истинного управления; он хотел его цивилизовать, когда его надо было обучить войне. Он хотел сначала сотворить из своих подданных немцев, англичан, когда надо было начать с того, чтобы сделать из них русских. Он помешал им стать когда-либо тем, чем они могли бы быть, убеждая их, что они то, чем они в действительности не были; он поступил, подобно французскому учителю, который старается, чтобы его ученик блистал в детстве, а затем оставался бы навсегда ничтожеством. Русская империя, захочет покорить Европу, и будет покорена сама. Татары, ее подданные или соседи, станут и ее и нашими господами: эта революция кажется мне неизбежной. Все короли Европы согласно работают над тем, чтобы ее ускорить.

ГЛАВА IX

О НАРОДЕ

(*ПРОДОЛЖЕНИЕ*)

Как природа установила предельный рост для хорошо сложенного человека, вне которого она производит только великанов или карликов, точно так же и по отношению к лучшей конституции государства существует предел территории, которую оно может занимать и при которой оно не было бы ни слишком большим, чтобы хорошо управляться, ни слишком малым для того, чтобы поддерживать свое существование собственными силами. Для всякого политического организма существует максимум силы, которого оно не должно было бы превышать и от которого оно часто удаляется вследствие своего увеличения. Чем далее простираются общественные узы, тем более они ослабляются; и, в общем, маленькое государство пропорционально сильнее, чем большое.

Тысяча доводов доказывает это положение. Во-первых, администрация становится более затруднительной при больших расстояниях, как тяжесть становится более тяжелой на конце более длинного рычага. Администрация делается также более обременительной, по мере того как множатся ее ступени, потому что каждый город имеет свою администрацию, оплачиваемую народом, каждый округ — свою, опять-таки оплачиваемую народом; потом каждая провинция, а затем большие области, сатрапии, наместничества, которые нужно оплачивать все дороже и притом всегда за счет

несчастного народа, наконец, высшая администрация, которая давит все. Такое бремя непрестанно истощает подданных: вместо того чтобы быть лучше управляемыми всеми этими различными начальствами, подданные управляются гораздо хуже, чем если бы над ними была одна единственная инстанция. В то же время едва-едва остается средств для случаев чрезвычайных, и когда к таким средствам приходится прибегнуть, то государство всегда оказывается накануне разорения.

Это не все: не только у правительства оказывается менее силы и подвижности для того, чтобы заставить соблюдать законы, помешать притеснениям, искоренять злоупотребления, предупреждать восстания, которые могут возникнуть в отдельных местах; но и народ чувствует меньше привязанности к своим начальникам, которых он никогда не видит, к отечеству, которое в его глазах так же велико, как и мир, и к своим согражданам, большинство которых ему чуждо. Одни и те же законы не годятся для многих различных провинций, нравы которых различны, которые расположены в противоположных климатах и не могут быть подогнаны под одну форму правительства. Различные же законы вносят только смуту среди людей, которые, живя под властью одних и тех же начальников, соприкасаясь постоянно друг с другом, перемещаются или вступают в браки одни с другими и, будучи подчинены разным обычаям, никогда толком не знают, действительно ли их достояние принадлежит им. Таланты погребены, добродетели пребывают в неизвестности, пороки остаются безнаказанными в этой толпе незнакомых друг другу людей, которых собирает воедино лишь резиденция высшей администрации. Начальники, обремененные делами, сами ни в чем разобраться не могут; их чиновники управляют государством. Наконец, все заботы государства поглощаются мерами для поддержания общей власти, от которой находящиеся в отдалении чиновники хотели бы избавиться или которую они хотят обмануть; для служения народному благу уже более не оказывается сил; с трудом хватает их на его защиту, в случае необходимости; и таким-то образом организм, слишком большой для своей конституции, ослабляется и гибнет, задавленный собственной тяжестью.

С другой стороны, государство должно построить для себя известное основание, чтобы обладать прочностью и сопротивляться потрясениям, которых ему не избежать и чтобы выдержать усилия, необходимые для своего сохранения, потому что у всех народов существует нечто вроде

центробежной силы, вследствие которой они постоянно выступают друг против друга и стремятся, подобно вихрям Декарта, к расширению за счет своих соседей. Таким образом, слабые подвергаются риску быть поглощенными, и никто не может сохраниться иначе, как образуя вместе со всеми другими своего рода равновесие, делающее давление повсюду приблизительно равным.

Отсюда видно, что существуют основания для расширения и основания для сужения границ; и немало таланта требуется от политика, чтобы найти между теми и другими основаниями пропорцию, наиболее выгодную для сохранения государства. Можно в общем сказать, что основания к расширению, будучи только внешними и относительными, должны быть подчинены основаниям обратного порядка — внутренним и абсолютным. Первая вещь, которую необходимо установить,— это здоровая и прочная конституция; и всегда следует более рассчитывать на силу, создаваемую хорошим правительством, чем на средства, доставляемые большой территорией.

Впрочем, история знала государства, устроенные таким образом, что необходимость завоеваний входила в самую их конституцию, и которые для своего сохранения принуждены были постоянно увеличиваться. Быть может, они и были рады этой счастливой необходимости, но, полагая их росту естественный предел, эта же необходимость указывала и неизбежный момент их падения.

ГЛАВА X

О НАРОДЕ

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Политический организм можно измерять двояким способом, а именно: обширностью территории и количеством населения. Для определения надлежащей величины государства нужно установить известное отношение между этими величинами. Люди составляют государство, а территория питает людей. Отношение между ними должно быть таково, чтобы земли было достаточно для поддержания жизни ее обитателей и чтобы было столько жителей, сколько земля может прокормить. В этой-то именно пропорции и заключается максимальная сила данного количества населения; потому что, если земли слишком много, охрана ее становится тягостной, культура недостаточной, а продуктов слишком много; во всем этом кроются ближайшие причины оборонительных

войн; если же земли недостаточно, то государство для пополнения недостающего количества продуктов находится в зависимости от своих соседей, и отсюда возникают основания для войн наступательных. Всякий народ, который по своему положению принужден выбирать одно из двух — торговлю или войны,— слаб сам по себе; он зависит от своих соседей, он зависит от событий, существование его неустойчиво и кратковременно. Или он подчиняет себе других и изменяет свое положение, или он сам покоряется другим и становится ничем. Он может сохранить свою свободу только или в силу своей незначительности, или в силу своего величия.

Нельзя дать математически точного отношения между количеством земли и количеством населения, которые были бы достаточны одно для другого, как по причине различий в качествах почвы, в степени ее плодородности, в природе ее продуктов, во влиянии климатических условий, так и по причине различий в темпераменте людей, обитающих на этих землях, потому что одни люди потребляют мало, живя в плодородной стране, а другие потребляют много на бесплодной почве. Кроме того надо еще принять во внимание бо́льшую или меньшую плодовитость женщин, то, что страна имеет более или менее благоприятное населению количество жителей, которому законодатель может надеяться притти на помощь своими установлениями. Так что он должен основывать свое суждение не на том, что он видит, а на том, что он предвидит, и не столько должен останавливаться на настоящем положении населения, сколько на том, которого оно должно естественно достигнуть. Наконец, есть тысяча случаев, когда особенные условия места требуют или позволяют захват большего количества земли, чем это кажется необходимым. Так, сильное расширение неизбежно в горной стране, где естественные угодия, как леса, пастбища, требуют менее труда, где, как это указывает опыт, женщины более способны к деторождению, чем на равнинах, и где при огромном наклоне почвы остается только небольшая горизонтальная площадь, единственная, на которую следует рассчитывать для обработки. Напротив, можно сжаться на берегу моря, даже среди скал и почти бесплодных песков, потому что рыболовство может в значительной степени восполнить продукты почвы, потому что люди там должны жить более тесно для отражения пиратов, и к тому же там представляется бо́льшая возможность освободить страну от излишка населения путем колонизации.

К этим условиям, необходимым для организации на-

рода, нужно прибавить еще одно, которое не может быть заменено никаким другим и без которого все условия бесполезны, а именно: необходимо, чтобы народ пользовался изобилием и миром, потому что государство в то время, когда оно образуется, подобно батальону, когда он выстраивается, наименее способно к сопротивлению, и его тогда легче всего разрушить. При абсолютном беспорядке гораздо легче сопротивляться, чем в момент брожения, когда каждый занимается своим положением, а не опасностью. Пусть во время кризиса случится война, голод, возмущение, и государство неизбежно падет.

Это не значит, чтобы не было правительств, установленных во время таких бурь, но тогда эти самые правительства и разрушают государство. Узурпаторы создают или выбирают всегда такие смутные времена, чтобы провести, пользуясь охватившим общество ужасом, разрушительные законы, которые народ никогда не одобрил бы в спокойном состоянии. Выбор момента для установления законов есть один из наиболее верных признаков, по которому можно отличить дело законодателя от дела тирана.

Какой же народ наиболее способен к законодательству? Тот, который, будучи уже связан известными узами происхождения, интересов или соглашения, не испытал еще настоящего ига законов; у которого нет ни обычаев, ни сильно укоренившихся предрассудков; который не боится подвергнуться внезапному вторжению врага; который, не вмешиваясь в споры своих соседей, может сопротивляться сам каждому из них или пользоваться помощью одного из них, для того чтобы отразить нападения другого: тот народ, каждый член которого может быть известен всем и которому нет необходимости обременять каждого человека бо́льшими тяготами, чем он может вынести; тот народ, который может обходиться без помощи других и без помощи которого может обходиться всякий другой народ*; народ, который ни богат,

---

* Если из двух соседних народов один не может обходиться без помощи другого, то создается положение очень тяжелое для одного и очень опасное для другого. В таком случае всякая мудрая нация постарается быстро освободить другого от этой зависимости. Республика Тласкала, вкрапленная в Мексиканскую империю, предпочла отказаться от употребления соли, чем покупать ее у мексиканцев и даже чем получать ее даром. Мудрые тласканцы видели скрытую под этой щедростью западню; они сохранили свою свободу, и это маленькое государство, окруженное со всех сторон большой империей, стало в конце концов орудием гибели последней.

ни беден, но может обойтись собственными силами; который, наконец, соединяет устойчивость старого народа с послушанием нового. То, что нужно создать, ставит законодательству гораздо меньше затруднений, чем то, что подлежит разрушению. А что делает успех столь редким — это невозможность найти соединение естественной простоты с потребностями общества. Правда, все эти условия очень трудно найти соединенными вместе; поэтому-то так мало хорошо устроенных государств.

В Европе есть еще страна, способная к законодательству: это остров Корсика. Мужество и упорство, с какими этот храбрый народ сумел завоевать и защитить свою свободу, заслуживают того, чтобы какой-нибудь мудрый человек научил его сохранить эту свободу. У меня какое-то предчувствие, что этот маленький остров когда-нибудь изумит Европу.

ГЛАВА XI

О РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМАХ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Если исследовать, в чем именно состоит наибольшее благо всех, которое должно быть целью всякой системы законодательства, то мы найдем, что благо это сводится к двум важнейшим вещам: свободе и равенству; свободе — потому что всякая частная зависимость равносильна отнятию у государственного организма некоторой силы; равенству — потому что свобода не может существовать без равенства.

Я уже указал, что такое гражданская свобода; под словом равенство не следует понимать того, чтобы степени власти и богатства должны быть абсолютно одни и те же; что касается власти, она не должна доходить до насилия и применяться иначе, как в силу определенного положения и законов; а что касается богатства — ни один гражданин не должен быть настолько богат, чтобы быть в состоянии купить другого, и ни один — настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя*. Это предполагает со стороны знатных

* Если вы хотите придать государству прочность, то сблизьте крайние ступени насколько это возможно; не допускайте ни богачей, ни нищих. Эти два состояния, естественно не отделимые друг от друга, одинаково гибельны для общественного блага; из одного выходят виновники тирании, а из другого — тираны; между ними всегда и происходит торг общественной свободы: одни покупают ее, другие продают.

людей умеренность в пользовании имуществом и влиянием, а со стороны людей маленьких — умеренность в своей жадности и зависти.

Скажут, что это равенство — отвлеченная химера, которая не может существовать в действительности. Но если злоупотребление неизбежно, то следует ли из этого, что это злоупотребление не нужно хотя бы регулировать? Именно потому, что сила вещей стремится всегда разрушить равенство, сила законодательства должна быть постоянно направлена к его поддержанию.

Но эти общие всем хорошим установлениям цели должны видоизменяться в каждой стране сообразно с теми отношениями, которые возникают как из положения местности, так и из характера жителей, и на основе этих отношений необходимо дать каждому народу особую систему учреждений, быть может, и не лучшую вообще, но лучшую по отношению к государству, для которого она предназначена. Например, если почва бесплодна и неблагодарна или страна слишком мала для своих обитателей, то обратитесь к искусствам и промышленности, продукты которых вы обменяете на недостающий вам хлеб. Напротив, если вы занимаете богатые равнины и плодородные склоны и при хороших качествах почвы у вас недостает жителей, то обратите все свое внимание на земледелие, увеличивающее количество населения, и изгоните искусства, которые могут только обезлюдить страну, сосредоточивая в нескольких пунктах территории и то небольшое количество жителей, которое там есть*. Если вы занимаете удобные и длинные берега, то покройте море судами, занимайтесь торговлей и мореплаванием, вы будете иметь блестящее и короткое существование. Если море омывает у ваших берегов только почти недоступные скалы, то оставайтесь варварами и рыбоедами; вы будете жить более спокойно, может быть, лучшими и, наверное, более счастливыми людьми. Одним словом, кроме общих для всех народов правил, имеется для каждого народа в отдельности основание, по которому правила эти сочетаются особым образом и которое делает законодательство этого народа пригодным только для него. Таким образом когда-то евреи, а недавно арабы имели главным предметом

* «Какая-нибудь ветвь внешней торговли,— говорит г. д'Аржансон,— представляет в общем только ложную пользу для королевства; она может обогатить несколько отдельных лиц, даже несколько городов, но вся нация ничего от этого не выигрывает, и народу не лучше».

своих забот религию, афиняне — литературу, Карфаген и Тир — торговлю, Родос — мореплавание, Спарта — войну, а Рим — доблесть. Автор «Духа законов» показал на огромном количестве примеров, как законодатель приспособляет устройство страны к лучшему достижению каждой из этих целей.

Конституция каждого государства становится действительно долговечной и прочной, если установившиеся обычаи настолько соблюдаются, что естественные отношения и законы совпадают по одним и тем же вопросам, и если действие законов заключается лишь, так сказать, в обеспечении, поддержании и исправлении естественных отношений. Но если законодатель, ошибаясь в своем предмете, берет принцип, отличный от того, который возникает из природы вещей, если один принцип направлен к рабству, а другой — к свободе, один — к богатству, а другой — к увеличению населения, один — к миру, а другой — к завоеваниям, тогда законы незаметно ослабятся, конституция исказится, и в государстве не прекратятся смуты до тех пор, пока оно не будет или разрушено или изменено и пока непобедимая природа не возьмет своего.

ГЛАВА XII

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАКОНОВ

Для того чтобы устроить целое, или дать возможно лучшую организацию обществу, необходимо обратить внимание на различные отношения. Во-первых, сюда относится действие всего организма на самого себя, т. е. отношение целого к целому, или суверена к государству; а это отношение слагается из отношения промежуточных величин, как мы это увидим ниже.

Законы, которые регулируют это отношение, называются законами политическими, а также законами основными не без некоторого основания, если эти законы мудры; потому что если для каждого государства есть только один способ его правильно устроить, то народ, который открыл этот способ, должен его держаться. Но если установленный порядок плох, то зачем считать тогда основными те законы, которые мешают ему быть хорошим? Впрочем, при всяком положении вещей народ всегда волен изменять свои законы, даже наилучшие, ибо, если ему угодно причинять зло самому себе, то кто имеет право помешать ему в этом?

Второе отношение — это отношение членов между собой или к политическому организму в целом; отношение это в первом случае должно быть насколько возможно малым, во втором — оно должно быть возможно великим, так чтобы каждый гражданин находился в полной независимости от всех остальных и в полнейшей зависимости от гражданской общины. Это достигается всегда одними и теми же средствами, потому что только силой государства создается свобода его членов. Из этого второго отношения возникают гражданские законы.

Можно указать еще и на третий вид отношений между человеком и законом, а именно: отношение между неповиновением и наказанием, что ведет к установлению уголовных законов, которые в сущности являются скорее санкцией всех остальных законов, чем особым видом последних.

К этим трем видам законов необходимо присоединить четвертый, наиболее важный из всех: законы этого вида не вырезаны на мраморе и меди, а запечатлены в сердцах граждан; они составляют истинную конституцию государства; сила их возобновляется каждый день; они восполняют и возвращают к жизни другие законы, стареющие или угасающие, сохраняют в народе дух государственных учреждений и незаметно силой привычки заменяют силу власти. Я говорю о нравах и обычаях, а в особенности об общественном мнении. Эта часть законов неизвестна нашим политикам, но от нее зависит успех всех остальных законов. Великий законодатель втайне занимается этой частью законов, между тем как внешним образом он ограничивается изданием частных регламентов. Последние являются лишь дугою свода, прочную смычку которого образуют нравы, возникающие гораздо медленнее.

Между этими различными разрядами законов к моему предмету относятся лишь политические законы, определяющие форму правительства.

КНИГА ТРЕТЬЯ

Прежде чем говорить о различных формах правительства, мы попытаемся выяснить точное значение этого слова, до сих пор еще недостаточно выясненное.

ГЛАВА I

О ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ВООБЩЕ

Я предупреждаю читателя, что эта глава должна быть прочитана с большим вниманием, так как я не владею искусством ясно выражаться для того, кто не хочет быть внимательным.

Всякое свободное действие возникает из двух оснований, которые совместно производят его. Одно из этих оснований — моральное, а именно — воля, которая определяет акт; другое — физическое, а именно — сила, которая выполняет его. Когда я собираюсь двигаться по направлению к какому-нибудь предмету, то нужно, во-первых, чтобы я хотел пойти, а во-вторых, чтобы мои ноги двигали меня по направлению к нему. Пусть паралитик захочет бежать и пусть подвижной человек не захочет этого: оба они останутся на месте. Политический организм обладает теми же двигателями: в нем можно также различать силу и волю. Последняя носит название *законодательной власти*, а первая — *власти исполнительной*. Ничто не делается или не должно делаться без их содействия.

Мы видели, что законодательная власть принадлежит народу и может принадлежать только ему. Из установленных выше принципов легко видеть, напротив, что исполнительная власть не может принадлежать целому обществу как законодателю или суверену, потому что власть эта выражается только в частных актах, не являющихся законами и, следовательно,

не относящихся к области действия суверена, все акты которого могут быть только законами.

Общественной силе необходим, следовательно, собственный агент, который бы объединял и применял ее согласно указаниям общей воли, который служил бы связующим звеном между сувереном и государством и осуществлял бы в общественной личности некоторым образом то же самое, что производит в человеке соединение души и тела. Вот какова роль в государстве правительства, напрасно смешиваемого с сувереном, только исполнителем которого оно является.

Что же такое правительство? Это посредствующий орган, установленный между подданными и сувереном для взаимного их сношения, уполномоченный исполнять законы и охранять свободу, как политическую, так и гражданскую.

Члены этого органа называются магистратами, или *королями*, т. е. *правителями*, а весь орган называется *государем**. Таким образом те, которые уверяют, что акт, посредством которого народ подчиняет себя начальникам, не есть договор, совершенно правы. Это не что иное, как поручение, должность, исполняя которую, начальники, простые чиновники суверена, применяют его именем власть, хранителями которой он их назначил; эту власть суверен может ограничить, изменить, отнять, когда ему угодно, так как отчуждение подобного права было бы несовместимо с природой общественного организма и противно цели ассоциации.

Итак, я называю *правительством*, или верховным управлением, законное отправление функций исполнительной власти, а правителем, или государем,— орган или человека, которым вручена эта власть.

В правительстве сосредоточены те посредствующие силы, отношения которых составляют отношение целого к целому, или суверена к государству. Последнее отношение можно представить в виде крайних членов непрерывной пропорции, среднее пропорциональное которой есть правительство. Правительство получает от суверена приказы, которые оно передает народу; и для того чтобы государство находилось в постоянном равновесии, необходимо, чтобы при всяких условиях существовало равенство между действием или могуществом правительства, взятого само по себе, и действием или силой граждан, которые являются суверенами, с одной стороны, и подданными — с другой.

* В Венеции именно потому коллегию называют *светлейшим государем* (prince), даже когда дож в ней не присутствует.

Кроме того, нельзя изменить ни одного из трех членов пропорции, не нарушая последней. Если суверен пожелает управлять, или если правительство захочет издавать законы, или если подданные откажут в повиновении, тогда вместо порядка наступит беспорядок, сила и воля перестанут действовать в согласии, и распавшееся государство впадет, таким образом, в деспотизм или в анархию. Наконец, как во всяком отношении есть только одно среднее пропорциональное, так и в каждом государстве возможно только одно хорошее правительство; но так как тысяча событий могут изменять отношения внутри народа, то различные правительства могут быть пригодны не только для различных народов, но и для одного и того же народа в различные времена.

Чтобы попытаться дать представление о различных отношениях, которые могут царить между этими двумя крайними членами пропорции, я возьму в качестве примера количество народа, как отношение, которое легче выразить.

Предположим, что государство состоит из десяти тысяч граждан. Суверен может быть рассматриваем только коллективно и как целое, но каждый отдельный человек в качестве подданного рассматривается как отдельный индивид. Таким образом, суверен относится к подданному как десять тысяч к единице; это значит, что каждому члену государства принадлежит только одна десятитысячная доля верховной власти, хотя он подчинен последней весь целиком. Пусть народ состоит из ста тысяч человек; положение подданных и в этом случае не изменится, и каждый будет так же подчинен всей власти законов; тогда как его голос сведенный до одной стотысячной, имеет в десять раз меньше влияния при составлении этих законов. А так как подданный всегда представляет единицу, то отношение суверена увеличивается по мере увеличения числа граждан. Откуда следует, что когда государство увеличивается, то свобода уменьшается.

Когда я говорю, что отношение увеличивается, то я подразумеваю под этим, что оно удаляется от равенства. Таким образом, чем отношение больше по понятию геометров, тем меньше отношения имеется по понятию обычному. В первом случае отношение, рассматриваемое с точки зрения количества, измеряется показателем; во втором случае отношение, рассматриваемое с точки зрения тождества, оценивается по подобию. Итак, чем меньше существует отношения между частными волями и общей волей, т. е. чем менее нравы имеют отношения к законам, тем более должна увеличиваться при-

нудительная сила. Стало быть, правительство, чтобы быть хорошим, должно быть относительно более сильным, по мере того как народ становится более многочисленным.

С другой стороны, так как увеличение государства представляет хранителям государственной власти более соблазнов и средств злоупотреблять своею властью, то правительство должно обладать большей силой, для того чтобы сдерживать народ, и тем более в свою очередь должен иметь силы суверен, для того чтобы сдерживать правительство. Я говорю здесь не об абсолютной, а об относительной силе различных частей государства.

Из этого двоякого отношения вытекает, что постоянная пропорция между сувереном, государем и народом не есть произвольная идея, а необходимое следствие природы политического организма. Отсюда следует еще и то, что, так как один из крайних членов пропорции, а именно народ как подданный, неизменен и представлен единицей, то всякий раз как квадрат члена увеличивается или уменьшается, и простой член точно так же увеличивается или уменьшается, а следовательно, изменяется и средний член. Отсюда вытекает, что нет единого абсолютного правительственного устройства, но что может быть столько же различных по своей природе правительств, сколько может быть различных по своей величине государств.

Если, желая высмеять эту систему, скажут, что, для того чтобы найти это среднее пропорциональное и образовать правительство, нужно, по моему мнению, извлечь только квадратный корень из количества народа, то я отвечу, что я взял здесь количество лишь как пример, что отношения, о которых я говорю, измеряются не одним количеством людей, а вообще количеством действия, обусловленным множеством причин; и что в конце концов если, для того чтобы выразить свою мысль возможно короче, я заимствую на время геометрические термины, то я все-таки знаю, что в моральных величинах не существует геометрической точности.

Правительство есть то же самое в миниатюре, что заключающий его политический организм. Это — моральная личность, одаренная известными способностями, деятельная как суверен и пассивная как государство; личность, которую можно разложить на несколько подобных отношений; откуда, следовательно, возникает новая пропорция, а в последней по степеням правительственных учреждений образуются еще и другие пропорции до тех пор, пока мы, наконец, не получим неделимого среднего члена, т. е. единственного начальника, или

высшего правителя, которого можно представить среди этой прогрессии, как единицу между рядом дробей и рядом чисел.

Не запутываясь в этом нагромождении терминов, мы удовлетворимся тем, что будем рассматривать правительство как отличное от народа и суверена, служащее посредником между тем и другим,— новый орган в государстве.

Между этими двумя органами существенная разница заключается в том, что государство существует само по себе, правительство же — только благодаря суверену. Таким образом, господствующая воля государя есть или должна быть лишь общей волей, или законом. Сила его есть лишь сосредоточенная в его лице сила общественная: как только он захочет предпринять по собственному почину какой-нибудь абсолютный и независимый акт, связь всего начинает ослабляться. Если бы, наконец, случилось, что государь обладал бы частной волей, более активной, чем воля суверена, и если бы он воспользовался, в интересах этой частной воли, подчиненной ему публичной силой, так что оказалось бы, так сказать, два суверена: один по праву, а другой в действительности,— то общественное единение немедленно исчезло бы, а политический организм разрушился.

Тем не менее, для того чтобы правительственное тело существовало и обладало реальной жизнью, отличающей его от государственного тела, для того чтобы все члены его могли действовать согласно и соответствовать цели, для которой правительство установлено, необходимо, чтобы оно обладало особым я, чувствительностью, общей всем его членам, силой, собственной волей, которая стремилась бы к его сохранению. Это особое, свойственное ему существование предполагает наличность собраний, советов, права обсуждать, делать постановления, предполагает права, титулы, привилегии, которые принадлежат исключительно государю и которые ставят должностных лиц в положение тем более почетное, чем оно труднее. Трудности заключаются в том, как согласовать целое с этим подчиненным целым, чтобы последнее, укрепляя свою конституцию, не вредило бы в то же время общей конституции; чтобы оно отличало всегда свою частную силу, предназначенную для самосохранения, от силы общественной, назначение которой охранять государство; чтобы, одним словом, оно было всегда готово принести в жертву правительство народу, а не народ правительству.

Впрочем, хотя искусственное правительственное тело есть произведение другого искусственного тела и живет некоторым образом только жизнью заимствованной и подчиненной,

однако это не мешает тому, чтобы оно могло действовать с большей или меньшей силой и скоростью и пользоваться, так сказать, здоровьем более или менее крепким. Наконец, не удаляясь прямо от цели, для которой правительство учреждено, оно может более или менее отклоняться от нее в зависимости от того, как оно устроено.

Из всех этих различий и возникают разные отношения, в какие правительство должно стать к государственному телу, сообразно с случайными и особенными отношениями, изменяющими само государство, потому что часто само по себе лучшее правительство делается самым порочным, если его отношения не будут изменены сообразно с недостатками политического организма, которому оно принадлежит.

ГЛАВА II

О ПРИНЦИПЕ, НА КОТОРОМ СТРОЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ ФОРМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Чтобы указать общую причину этих различий, здесь необходимо провести границу между государем и правительством, как я раньше провел различие между государством и сувереном.

Правительственная коллегия может быть составлена из большего или меньшего количества членов. Мы узнали, что отношение суверена к подданным становится тем больше, чем народ многочисленней, и по очевидной аналогии мы можем то же сказать о правительстве по отношению к составляющим его должностным лицам.

Совокупные силы правительства, будучи в то же время силами государства, не изменяются: отсюда следует, что чем более правительство расходует эту силу на собственных своих членов, тем менее остается у него ее, чтобы воздействовать на весь народ.

Итак, чем многочисленнее чиновники, тем слабее правительство. Так как это положение основное, то постараемся его выяснить получше.

Мы можем различать в должностном лице три существенно различные воли: во-первых, собственную волю индивида, которая направлена только к его личным выгодам; во-вторых, общую волю должностных лиц, которая направлена единственно к выгодам государя и которую можно назвать корпоративной волей: воля эта по отношению к правительству яв-

ляется волей общей, а по отношению к государству, часть которого составляет правительство,— волей частной; в-третьих, волю народа, или суверенную волю, которая является общей как по отношению к государству, рассматриваемому как целое, так и по отношению к правительству, взятому как часть целого.

В совершенном законодательстве частная, или индивидуальная, воля не должна иметь никакого значения, воля правительственной корпорации — очень подчиненное значение, следовательно, воля общая, или суверенная, является волей господствующей и единственно руководящей всеми остальными.

Напротив, по естественному порядку вещей эти различные воли тем деятельнее, чем более они сконцентрированы. Таким образом, самой слабой является общая воля; воля корпорации занимает второе место, а частная воля — первое; так что в правительстве каждый член есть прежде всего он сам, потом — должностное лицо, потом — гражданин. Последовательность, прямо обратная той, какой требует общественный порядок.

Если мы согласимся с этим, то в том случае, когда правительство будет находиться в руках одного человека, воля частная и воля корпорации окажутся совершенно объединенными, а следовательно, воле этой будет присуща самая высокая степень напряженности. А так как применение силы зависит от степени воли и абсолютная сила правительства неизменна, то отсюда следует, что наиболее деятельным является правительство единоличное.

Напротив, если мы соединим правительство с законодательной властью, если сделаем суверена государем, а всех граждан — чиновниками, то тогда корпоративная воля, слившись с волей общей, будет не более деятельна, чем последняя, и оставит за волей частной всю ее силу. Таким образом, правительство, обладая все той же абсолютной силой, будет обладать в этом случае минимумом силы относительной или минимумом активности.

Эти отношения неоспоримы, и для подтверждения их можно привести и другие соображения. Замечено, например, что каждое должностное лицо в корпорации, часть которой оно составляет, проявляет более активности, чем каждый гражданин в общественном организме, и что, следовательно, частная воля оказывается гораздо более влиятельной в актах правительства, чем в актах суверена, потому что должностное лицо выполняет всегда какую-нибудь правительственную функцию, тогда как каждый гражданин, взятый как отдель-

ная личность, не выполняет никакой функции суверенитета. Впрочем, чем государство обширней, тем больше его реальная сила, хотя она не увеличивается пропорционально территории; но раз государство остается тем же самым, то количество чиновников может увеличиваться сколько угодно, правительство от этого не приобретет больше реальной силы, потому что сила эта — сила государства, мера которой всегда одинакова. Итак, относительная сила, или активность, правительства уменьшается, без того что бы его абсолютная, или реальная, сила могла увеличиться.

Можно с уверенностью сказать, что делопроизводство тем медленнее, чем более людей им занято; что, полагаясь слишком на благоразумие, не предоставляют достаточно простора судьбе; что упускается удобный случай и что, занимаясь слишком усердно обсуждением, теряют часто плоды этого обсуждения.

Я показал, что правительство ослабляется по мере того, как растет количество чиновников; а еще ранее я указал, что чем народ многочисленней, тем более должна увеличиваться принудительная сила. Отсюда следует, что отношение должностных лиц к правительству должно быть обратно отношению подданных к суверену, т. е. чем более государство увеличивается, тем более правительство должно сжиматься; так что количество начальников уменьшается пропорционально увеличению количества народа.

Впрочем, я говорю здесь только об относительной силе правительства, а не о его правильности; потому что, напротив, чем магистратура многочисленней, тем ближе воля корпоративная к воле общей, тогда как при одном единственном правителе эта самая корпоративная воля, как я уже сказал, есть только воля частная. Таким образом, с одной стороны теряется то, что может быть выиграно с другой. Искусство законодателя и заключается в умении определить размеры, при которых сила и воля правительства, находясь постоянно во взаимном соотношении, сочетаются в отношении, наиболее выгодном для государства.

ГЛАВА III

ДЕЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВ

В предыдущей главе было указано, почему отдельные виды, или формы, правительства различаются по количеству составляющих их членов; остается показать в настоящей главе, как это деление производится.

Суверен может, во-первых, возложить функции правительства на весь народ или на большую часть народа, так что окажется больше граждан-чиновников, чем граждан — простых частных лиц. Такую форму правительства называют *демократией*.

Во-вторых, он может сузить рамки правительства, ограничивая его небольшим числом лиц так, чтобы простых граждан было больше, чем должностных лиц. Такая форма называется *аристократией*.

Наконец, он может сосредоточить все правительство в руках одного должностного лица, от которого получают свою власть все остальные чиновники. Эта третья форма, наиболее распространенная, называется *монархией*, или королевским правительством.

Необходимо заметить, что все эти формы или, по крайней мере, первые две, более или менее и даже в довольно значительной степени растяжимы, потому что демократия может охватить весь народ и сузиться до половины всего народа. Аристократия, в свою очередь, может включать в себя от половины народа до самого незначительного числа. Даже королевская власть способна некоторым образом к делению. Спарта имела по своей конституции постоянно двух царей, а в Римской империи наблюдались случаи, когда бывало по восьми императоров сразу, и в это же время нельзя было сказать, что империя разделена. Итак, есть точка, где каждая форма правительства сливается со следующей формой, и можно сказать, что под тремя только различными наименованиями правительство в действительности может принять столько различных форм, сколько в государстве граждан.

Более того: так как то же самое правительство в известных отношениях может подразделяться на дальнейшие части, из которых одна управляется одним образом, а другая — другим, то из комбинации трех названных форм может быть образована масса смешанных форм, из которых каждая способна помножаться на все простые формы.

Во все времена много спорили относительно лучшей формы правительства, не принимая во внимание того, что каждая из этих форм есть лучшая в одних случаях и худшая в других.

Если в различных государствах количество высших чиновников должно находиться в обратном отношении к количеству граждан, то отсюда следует, что, говоря вообще, демократическое правительство свойственно небольшим государствам, аристократическое — средним, а монархическое — боль-

шим. Это правило вытекает непосредственно из принципа. Но как учесть массу обстоятельств, которые могут приводить к исключениям?

ГЛАВА IV

О ДЕМОКРАТИИ

Тот, кто составляет закон, знает лучше, чем кто бы то ни было, как этот закон должен быть выполнен и истолкован. Казалось бы, что в таком случае не может быть лучшей конституции, чем та, при которой исполнительная власть соединена с законодательной; но именно это соединение делает правительство в известных отношениях недостаточным, так как здесь не соблюдено различие, которое должно существовать между известными предметами, и государь и суверен, будучи одним и тем же лицом, образуют лишь, так сказать, правительство без правительства.

Не хорошо, чтобы тот, кто составляет законы, приводил их в исполнение,— ни чтобы народ отвращал свое внимание от общих вопросов, чтобы обратить его на частные. Нет ничего более опасного, чем влияние частных интересов в общественных делах; и злоупотребление законами со стороны правительства есть меньшее зло, чем развращение законодателя — неизбежное следствие частных интересов. Раз государство испорчено в своей сущности, всякая реформа становится невозможной. Народ, который никогда не будет злоупотреблять правительством, не будет также злоупотреблять и независимостью; народ, который управлял бы всегда хорошо, не нуждался бы в том, чтобы быть управляемым.

Если принять термин «демократия» в строгом смысле слова, то никогда не существовало настоящей демократии и никогда не будет существовать. Противно порядку вещей, чтобы большое количество людей управляло, а малое количество было управляемо. Нельзя себе представить, чтобы весь народ все время проводил в собраниях для обсуждения общественных дел, и легко видеть, что он не мог бы учредить комиссий для их обсуждения, не изменяя формы правления.

В самом деле, мне кажется возможным установить принцип, что, когда функции правительства разделены между многими учреждениями, менее многолюдные приобретут рано или поздно наибольший авторитет, хотя бы только потому, что им легче справляться с делами. Впрочем, сколько различных условий должно быть налицо для такого правительства! Во-первых, оно предполагает очень маленькое государство, где

легко было бы собрать народ и где каждый гражданин легко мог бы знать всех остальных граждан; во-вторых, большую простоту нравов, которая могла бы предупредить массу дел и щекотливые споры; затем, большое равенство в положении и по имущественному состоянию, без чего не могло бы долго существовать и равенство в правах и власти; наконец, мало роскоши или полное ее отсутствие, потому что роскошь или есть следствие богатств, или делает богатства необходимыми. Роскошь развращает одновременно и богатого и бедного: первого — обладанием, а второго — завистью. Она предает отечество неге и суетности, отнимает у государства всех его граждан, чтобы поработить одних другим, а всех вместе — общественному мнению.

Вот почему один знаменитый автор считал принципом республики добродетель, так как все указанные нами условия не могли бы существовать без добродетели; но, не сделав необходимых различий, этот прекрасный гений часто оказывался неточным, иногда неясным, и не заметил, что так как суверенная власть везде одна и та же, то один и тот же принцип должен служить основанием для всякого хорошо устроенного государства, более или менее, конечно, сообразно с формой правительства. Прибавим, что нет правительства более подверженного гражданским войнам и внутренним волнениям, чем демократическое, или народное, потому что нет ни одного правительства, которое стремилось бы так сильно и так постоянно к изменению формы правления и требовало бы для своего поддержания в неизменном виде больше смелости и бдительности. В этом государственном устройстве гражданин в особенности должен быть вооружен силой и постоянством и каждый день в глубине своего сердца повторять то, что сказал доблестный воевода[1] на одном из польских сеймов: Malo periculosam libertatem quam quietum servitium. Если бы существовал народ, состоящий из богов, то он управлялся бы демократически. Такое совершенное правительство не годится для людей.

ГЛАВА V

ОБ АРИСТОКРАТИИ

Здесь мы видим две моральные личности, совершенно различные друг от друга, а именно: правительство и суве-

* Воевода Познанский, отец короля польского—герцога Лотарингского.

рен; и следовательно, две общие воли: одна относится ко всем гражданам, а другая — только к членам правительства. Таким образом, хотя правительство и может урегулировать свое внутреннее управление как ему угодно, оно не может обращаться к народу иначе, как от имени суверена, т. е. от имени самого народа; этого не следует никогда забывать.

Первые общества управлялись аристократически. Начальники родов обсуждали между собой общественные дела. Молодые люди подчинялись без труда авторитету опытности. Отсюда произошли названия *жрецов*, *старейшин*, *сената*, *геронтсв*. Дикари Северной Америки управляются так еще в наше время и управляются очень хорошо.

Но, по мере того как неравенство из естественного превращалось в установленное, богатство и могущество* предпочтены были возрасту, и аристократия стала избирательной. Наконец, так как с имуществом переходило от отца к детям и могущество и таким образом устанавливались патрицианские фамилии, то и правительство стало наследственным, и можно было видеть сенаторов двадцати лет отроду.

Таким образом, есть три вида аристократии: естественная, избирательная и наследственная. Аристократия первого рода годится только для народов простых; аристократия третьего рода есть наихудшее из всех правительств; аристократия же второго рода есть наилучшее правительство, и она-то и есть аристократия в собственном смысле слова.

Кроме преимущества разграничения двух властей этот вид правительства представляет еще преимущество в том отношении, что его члены избираются; потому что в народном правительстве все граждане уже по рождению являются должностными лицами, этот же вид правительства ограничивает количество должностей небольшим числом, да и те замещаются только путем избрания**: средство, благодаря которому честность, образование, опытность и все другие причины пред-

---

* Ясно, что слово оптиматы (optimates) означало у древних не лучших, а наиболее могущественных.

** Необходимо тщательно регулировать законами формы избрания должностных лиц; потому что, предоставляя это избрание воле государя, нельзя избежать опасности впасть в наследственную аристократию, как это случилось с Венецианской и Бернской республиками. Первая как государство уже в разложении; но вторая продолжает существовать благодаря крайней мудрости своего сената; это исключение очень почтенное, но и очень опасное.

почтения и общественного уважения являются новыми гарантиями того, что государство будет управляться мудро.

Кроме того, народные собрания проходят с меньшими затруднениями; дела обсуждаются лучше, выполняются с бо́льшим порядком и вниманием; престиж государства среди иностранных держав лучше поддерживается почтенными сенаторами, чем неизвестной или презираемой толпой.

Одним словом, наилучший и самый естественный порядок тот, чтобы наиболее мудрые управляли толпой, когда можно быть уверенным, что они будут управлять ею для ее же блага, а не для своего собственного; не надо усложнять напрасно механизма, ни делать с двадцатью тысячами человек того, что сто избранных людей могут сделать гораздо лучше. Но необходимо заметить, что здесь интересы корпорации оставляют в деле руководства публичной силой меньше места правилам, установленным общей волей, и что создается другое, неизбежное стремление, лишающее законы части исполнительной силы.

Переходя к частным условиям, необходимо заметить, что при аристократическом правительстве ни государство не должно быть столь малым, ни народ столь простым и столь прямым, чтобы выполнение законов непосредственно истекало из общественной воли, как это имеет место в настоящей демократии. Не нужно также, чтобы нация была особенно велика, дабы начальники, рассеянные по разным местам для управления ею, не могли отделиться от суверена каждый в своем округе и делаться независимыми, становясь в конце концов повелителями.

Но если аристократия требует несколькими добродетелями меньше, чем народное правительство, то она в свою очередь требует других добродетелей, свойственных ей одной, каковы: умеренность богатых людей и довольство своей судьбой бедных; мне кажется, что слишком строгое равенство было бы здесь не у места, оно не соблюдалось даже в Спарте.

Впрочем, если эта форма правительства и предполагает известное неравенство по имуществу, то для того лишь, чтобы в общем управление общественными делами было доверено тем, кто может посвятить ему все свое время, а вовсе не потому, что, как уверяет Аристотель, богачи всегда предпочитаются. Напротив, необходимо, чтобы избрание на противоположных основаниях указывало иногда народу, что заслуги людей представляют гораздо более важное основание для предпочтения, чем богатство.

ГЛАВА VI

О МОНАРХИИ

До сих пор мы рассматривали государя как моральную, коллективную личность, объединенную силой законов и обладающую в государстве исполнительной властью. Теперь мы должны рассмотреть эту власть в том виде, в каком она объединена в руках естественной личности, реального человека, который один может располагать ею согласно законам. Это и есть то, что называется монархом, или королем.

В полную противоположность другим видам управления, где коллективное существо представляет индивида, в данном случае индивид представляет коллективное существо, так что моральное единство, которое образует государя, есть вместе с тем и физическое единство, в котором все свойства, соединяемые законом с таким усилием в другом случае, объединены здесь естественным образом.

Таким образом, воля народа и воля государя, общественная сила государства и частная сила правительства — все направляется одной и той же двигательной силой; все части машины управляются одной и той же рукой; все движется к одной и той же цели; нет совсем противоположных движений, которые взаимно уничтожались бы, и нельзя себе представить другое государственное устройство, в котором меньшее усилие произвело бы действие более значительное. Сидящий спокойно на берегу и спускающий без труда на воду большой корабль, Архимед представляется мне искусным монархом, управляющим из кабинета своими обширными провинциями и заставляющим все двигаться, причем сам он по наружному виду остается неподвижным.

Но если нет правительства, у которого было бы больше силы, то, с другой стороны, нет ни одного правительства, в котором частная воля господствовала и повелевала бы более легко над всеми другими волями. Все направлено к одной и той же цели; это верно, но эта цель не есть вовсе общественное благо, и самая сила администрации обращается беспрестанно во вред государству.

Короли хотят быть абсолютными, а еще издали им кричат, что лучшее средство стать таковыми — это заставить управляемые ими народы любить себя. Эта мысль прекрасна и даже верна в известных отношениях; к несчастью, над этой мыслью всегда будут издеваться при дворах. Могущество, которое доставляется любовью народа, без сомнения очень велико,

но могущество это условно и непрочно; никогда государи не удовлетворятся им. Даже лучшие короли желают иметь возможность быть, если им это будет угодно, злыми, не переставая в то же время быть повелителями; политический проповедник напрасно будет им говорить, что так как сила народа — их сила, то величайший их интерес в том и заключается, чтобы народ процветал, был многочислен и могуч; они хорошо знают, что это неправда. Личный интерес монархов прежде всего заключается в том, чтобы народ был слаб, беден и чтобы он никогда не мог им сопротивляться. Я признаю, что если предположить, что подданные останутся всегда чрезвычайно покорными, то интерес государя действительно заключался бы в том, чтобы народ был могущественным, дабы его могущество, будучи в то же время собственным могуществом монарха, внушало его соседям страх перед ним. Но так как этот интерес играет только второстепенную и подчиненную роль и так как оба предположения — могущество народа и в то же время его безусловная покорность — несовместимы, то естественно, что государи отдают всегда предпочтение правилу, представляющему для них наибольшую непосредственную пользу. На это указывал резко евреям Самуил; это же наглядно доказал Маккиавелли. Делая вид, что он даст уроки королям, он дал большие уроки народам. «Князь» Маккиавелли есть книга республиканцев*. Мы нашли, по общим основаниям, что монархия свойственна только большим государствам, и то же самое мы найдем, исследуя монархию самое по себе. Чем многочисленнее общественная администрация, тем отношение правителя к подданным становится меньшим и приближается к равенству, так что это отношение становится в демократии равным единице, т. е. делается равенством. То же отношение государя к подданным увеличивается, по мере того как правительство суживается; оно достигает своего *максимума*, когда правительство сосредоточено в руках одного человека. Тогда между государем и народом рас-

* Маккиавелли был честным человеком и хорошим гражданином, но привязанный к дому Медичисов, он был вынужден в угнетенном отечестве своем скрывать свою любовь к свободе. Самый выбор его отвратительного героя довольно ясно указывает на его тайные намерения, и противоположность мыслей, высказанных им в его книге о «Князе» с мыслями, которые он высказал в своих «Речах о Тите Ливии» и в своей «Истории Флоренции», доказывает, что этот глубокий политик имел до сих пор только развращенных или поверхностных читателей. Римский двор сурово запретил его книгу; я это отлично понимаю, этот-то двор он и обрисовал самым ясным образом.

стояние становится слишком большим, и у государства недостает необходимых связей. Чтобы образовать их, необходимы посредствующие сословия, необходимы принцы, гранды, знать, чтобы наполнить их ряды, а все это не под силу маленькому государству, которое все эти ступени разорили бы. Но если трудно, чтобы большое государство хорошо управлялось, то еще труднее, чтобы оно хорошо управлялось одним человеком; а каждый знает, что происходит, когда король назначает вместо себя заместителей.

Неизбежным и чувствительным недостатком монархического правительства, который всегда ставит это последнее ниже республиканского, заключается в том, что в республике голос общества выдвигает на первые места только людей способных и образованных, которые занимают свои места с честью, тогда как те, которые выдвигаются в первые ряды в монархиях, чаще всего суть только мелкие смутьяны, мелкие плуты, мелкие интриганы; их мелкие таланты, доставляющие при дворах крупные места, служат только для того, чтобы показать обществу всю неспособность их, как только эти люди добьются высоких постов. Народ ошибается гораздо меньше в выборе, чем государь, и человек истинно заслуженный составляет такую же редкость в министерстве, какую составляет дурак во главе республиканского правительства. Поэтому-то, когда по какой-нибудь счастливой случайности один из людей, рожденных для власти, берет в руки руль управления в монархии, доведенной почти до гибели кучей этих милых управителей, то все приходят в глубокое изумление от находимых им ресурсов, и управление такого человека составляет эпоху в стране.

Чтобы монархическое государство могло быть хорошо управляемо, необходимо, чтобы его величина, или его территория, была соразмерена со способностями того, кто управляет этим государством. Гораздо легче завоевывать, чем управлять. Имея в своем распоряжении достаточной величины рычаг, можно пальцем поколебать мир, но чтобы поддержать его, нужны плечи Геркулеса. Пусть только государство будет достаточно велико, государь будет всегда слишком мал. Когда, напротив, государство слишком мало для своего повелителя, что случается очень редко, то оно все-таки плохо управляется, потому что повелитель, принимая во внимание лишь ширь своих замыслов, забывает интересы народов и, злоупотребляя талантами, которых у него слишком много, делает народы не менее несчастными, чем начальник, лишенный талантов. Нужно было бы, чтобы королевство, так сказать,

расширялось или сокращалось при всяком новом царствовании, сообразно со способностями каждого государя, тогда как, ввиду того что таланты сената имеют размеры более определенные, государство может обладать постоянными границами, и управление будет вестись всегда очень хорошо.

Наиболее чувствительный недостаток правления одного человека заключается в отсутствии того постоянного преемства, которое в двух других формах образует непрерывную связь. Раз король умер, нужен другой король; выборы оставляют опасные промежутки; они проходят бурно; и если только граждане не обладают честностью и неподкупностью, с которыми это правительство не связано, в выборы вмешиваются подкуп и интриги. Трудно, чтобы тот, кому государство себя продало, не продал бы его в свою очередь, не вернул бы себе за счет слабых те затраты, которые заставили его произвести сильные. Рано или поздно все становится продажным при подобном управлении, и мир, которым пользуются под управлением таких королей, гораздо хуже, чем беспорядок междуцарствий.

Что же было предпринято, чтобы предупредить это зло? Сделали короны наследственными в известных семьях и установили порядок наследия, предупреждающий всякий спор после смерти королей. Это значит, что, заменяя неудобства выборов неудобствами регентства, народы предпочли наружное спокойствие мудрому управлению и сочли лучшим иметь в качестве глав государства детей, чудовищ, дураков, чем спорить о выборе хороших королей; при этом не обратили внимания на то, что, подвергая себя, таким образом, риску случая, народы имеют почти все шансы против себя. Очень разумным был ответ молодого Дионисия, которому отец, упрекая его в каком-то постыдном поступке, сказал: «Разве я тебе дал пример? — Ах,— ответил сын,— твой отец не был царем».

Все способствует тому, чтобы отнять и справедливость и разум у человека воспитанного для того, чтобы повелевать другими. Говорят, что прилагается много стараний, чтобы научить молодых принцев искусству управлять; не видно однако, чтобы это воспитание принесло им пользу. Гораздо лучше было бы начать с обучения их искусству повиноваться. Величайшие монархи, которых прославила история, не были воспитаны для того, чтобы царствовать; это — наука, которою обладают тем менее, чем больше ее изучают, и которая гораздо лучше усваивается путем повиновения, чем путем властвования. «Nam utilissimus idem ac brevissimus bonarum ma-

larumque rerum delectus, cogitare quid aut nolueris sub alio principe, aut volueris» (Tacit, Hist., L.I).

Следствием этого отсутствия последовательности является непостоянство королевского правительства, которое, действуя то по одному плану, то по другому, сообразно с характером государя или лиц, правящих вместо него, не может долго заниматься определенным предметом, ни вести себя последовательно. Эта изменчивость заставляет всегда государство колебаться, переходить от одного правила к другому, от одного проекта к другому, что не имеет места в других правительствах, в которых государь всегда один и тот же. Поэтому в общем можно заметить, что если двор проявляет больше хитрости, то сенат обнаруживает больше мудрости, и что республики идут к своим целям по более последовательным и более постоянным планам; тогда как каждая революция в министерстве производит революцию в государстве, потому что правило, общее для всех министров и почти для всех королей,— это во всяком деле принимать решения, противоположные решениям их предшественников.

Из этой непоследовательности проистекает также и софизм, к которому очень склонны королевские политики. Софизм этот заключается не только в сравнении гражданского правительства с управлением домашним и государя с отцом семейства, ошибка уже опровергнутая, но и в щедром наделении этого правителя всеми добродетелями, которые необходимы для него, и в постоянном предположении, что государь всегда таков, каким он должен быть: предположение, при котором королевское правительство является, очевидно, предпочтительнее всякого другого, потому что оно неоспоримо наиболее сильное, и для того, чтобы быть еще и наилучшим, ему недостает только корпоративной воли, более согласной с общей волей. Но если, как уверяет Платон *, король по природе есть существо весьма редкое, во многих ли случаях природа и судьба совпадут для его коронования? И если королевское воспитание по необходимости развращает тех, которые его получают, то чего ожидать от целого ряда людей, воспитанных для того, чтобы царствовать? Итак, только ценою самообмана можно смешивать королевское управление с управлением хорошего короля. Чтобы видеть, что такое это управление само по себе, необходимо его рассмотреть при государях ограниченных или злых, потому что или они вступят такими на трон, или трон сделает их таковыми.

---

* In civili.

Эти трудности не ускользнули от внимания наших авторов, но они этим не смутились. Выход, говорят они, заключается в том, чтобы повиноваться безропотно. Бог посылает дурных королей в гневе своем, и их следует переносить, как небесную кару. Это поучение, без сомнения, очень назидательно, но оно, пожалуй, уместнее с кафедры проповедника, чем в политической книге. Что бы вы сказали о враче, который обещает чудеса и все искусство которого заключается в увещевании своего больного терпеть? Всем хорошо известно, что нужно терпеть плохое правительство, раз оно существует, но вопрос ведь в том, чтобы найти хорошее правительство.

ГЛАВА VII

О ПРАВИТЕЛЬСТВАХ СМЕШАННЫХ

Собственно говоря, правительства простого не существует. Необходимо, чтобы единственный глава государства имел подчиненных чиновников; необходимо, чтобы народное правительство имело главу. Таким образом, при разделении исполнительной власти существует всегда градация от большего числа к меньшему с той разницей, что иногда большее число зависит от меньшего, а иногда меньшее от большего.

Иногда происходит равное разделение, когда, например, составные части находятся во взаимной зависимости, как в английском правительстве, или когда власть каждой части независима, но не совершенна, как в Польше. Эта последняя форма — дурна, так как в правительстве нет единства, а у государства нет связи.

Какое из правительств лучше: правительство простое или правительство смешанное? Этот вопрос очень оживленно обсуждался политиками, и на этот вопрос нужно дать тот же ответ, который я дал выше относительно всякой формы правительства.

Правительство простое — самое лучшее само по себе, хотя бы по одному тому, что оно простое. Но когда исполнительная власть не зависит в достаточной степени от законодательной, т. е. когда между государем и сувереном существует большее отношение, чем между государем и народом, то этот недостаток пропорциональности следует исправить, разделив правительство, потому что тогда все части его, вместе взятые, имеют не меньше власти по отношению к под-

данным, разделение же этих частей делает их всех вместе менее сильными по отношению к суверену.

То же самое неудобство можно устранить путем учреждения посредствующих должностей, которые, оставляя правительство в целости, служат лишь для уравновешивания обеих сил и для поддержания их взаимных прав. В таком случае правительство будет не смешанным, а умеренным.

Подобными же средствами можно устранить и противоположные неудобства и создать трибунал для его концентрации, когда правительство слишком слабосильно. Это практикуется во всех демократиях. В первом случае правительство делят, чтобы его ослабить, во втором — чтобы усилить его, потому что высшая степень и силы и слабости встречается в простых правительствах, тогда как смешанные формы дают среднюю силу.

ГЛАВА VIII

О ТОМ, ЧТО НЕ ВСЯКАЯ ФОРМА ПРАВИТЕЛЬСТВА ПРИГОДНА ДЛЯ ВСЯКОЙ СТРАНЫ

Так как свобода не есть плод, свойственный всем климатам, то и не все народы могут ею пользоваться. Чем больше думаешь над этим принципом, установленным Монтескье, тем более убеждаешься в его истинности, и чем более он оспаривается, тем более можно найти случаев для его подтверждения путем новых доказательств.

При всех правительствах мира общественная личность потребляет, но ничего не производит. Откуда же она получает потребляемые ею предметы? Очевидно, от труда своих членов. Из излишка частных лиц составляется необходимое для общества. Откуда вытекает, что гражданское состояние может существовать не иначе, как поскольку труд людей производит больше, чем им самим нужно.

Но этот излишек одинаков во всех странах мира: во многих странах он значителен, в других — не особенно велик; в третьих — излишка вовсе нет; а в иных — нехватает и необходимого. Это отношение зависит от качеств климата, от свойств труда, требуемого почвой, от природы ее произведений, от силы жителей, от необходимого для последних большего или меньшего потребления и от многих других подобных отношений, из которых слагается основное отношение между необходимым и излишком.

С другой стороны, не все правительства имеют одну

и ту же природу: есть более или менее прожорливые; различия между ними основаны на том принципе, что чем более общественные повинности удалены от своего источника, тем более они отяготительны. Эту тяжесть следует измерять не количеством налогов, но длиною пути, который они должны пройти, чтобы вновь возвратиться в те руки, из которых они вышли. Когда это обращение хорошо установлено и происходит быстро, то неважно, платит ли народ много или мало: он всегда остается богатым, и финансы находятся в хорошем состоянии. Напротив, как бы мало народ ни платил, когда и это немногое вновь к нему не возвращается, то, продолжая постоянно давать, народ скоро истощается: государство в таком случае никогда не будет богато, а народ всегда будет нищим.

Отсюда следует, что чем более увеличивается расстояние между народом и правительством, тем тягостнее становятся налоги; таким образом, в демократии народ менее всего отягощен, в аристократии он отягощен в большей степени, а в монархии он несет наибольшую тягость налогов. Итак, монархия пригодна только для наций богатых, аристократия — для государств посредственных как по богатству, так и по величине, а демократия — для государств бедных и небольших.

В самом деле, чем больше мы размышляем, тем более мы найдем различий в данном отношении между государствами свободными и монархическими: в первых все направлено к общей пользе, во вторых силы общественные и частные взаимно противоположны и одни из них увеличиваются путем ослабления других. Наконец, вместо того чтобы управлять подданными с целью сделать их счастливыми, деспотизм делает их несчастными, дабы управлять ими.

Таковы во всяком климате те естественные причины, по которым можно определить форму правительства, предуказываемую для данной страны характером климата, и даже указать, какой род жителей эта страна должна иметь.

Места неблагодарные и бесплодные, где продукт не стоит затраченного на него труда, должны остаться необработанными и пустынными или населенными одними дикарями; места, где человеческий труд доставляет только самое необходимое для существования, должны быть населены народами варварскими; всякая государственная жизнь была бы там невозможна; страны, где излишек продукта над затраченным трудом средний, пригодны для свободных народов. Те места, где плодородная и обильная почва дает много продуктов при малой затрате труда, могут управляться монархически,

чтобы, благодаря роскоши государя, потребить излишек, остающийся у подданных, потому что лучше, чтобы этот излишек был поглощен правительством, чем растрачен частными лицами. Бывают исключения, я это знаю, но и в этих исключительных случаях общее правило находит подтверждение, ибо исключения кончаются рано или поздно революциями, которые восстановляют естественный порядок вещей.

Будем всегда различать общие законы от тех частных причин, которые могут изменить их следствия. Если бы даже весь юг был покрыт республиками, а весь север деспотическими государствами, тем не менее оставалось бы верным то, что по климатическим условиям деспотизм пригоден для теплых стран, варварство — для стран холодных, а правильная государственная жизнь — для стран промежуточных. Я понимаю, что, соглашаясь с принципом, можно спорить о его применении: могут сказать, что есть страны холодные — очень плодородные и страны южные — весьма бесплодные. Но эта трудность является таковой только для тех, которые не исследуют вещи во всех ее отношениях. Необходимо, как я уже сказал, принять во внимание отношения труда, сил, потребления и т. д.

Предположим, что из двух равных участков земли один приносит пять, а другой десять. Если жители первого участка потребляют четыре, а жители последнего девять, то излишек первого составит одну пятую часть всех продуктов, а второго — одну десятую. Поскольку отношения между этими излишками обратны отношению между продуктами, участок, который производит только пять, дает двойной избыток сравнительно с участком, который приносит десять.

Но вопрос идет не о двойном продукте, и я не думаю, чтобы кто-нибудь решился сравнить в общем плодородие стран холодных с плодородием стран теплых. Тем не менее допустим это равенство. Сравним, если угодно, Англию с Сицилией и Польшу с Египтом. Далее, на юг у нас останется еще Африка и Индия, а на север у нас дальше ничего нет. При всем равенстве в продукте, какое различие в культуре! В Сицилии нужно только поцарапать землю, а в Англии сколько забот надо употребить для того, чтобы возделать почву! А ведь там, где нужно больше рук, чтобы получить тот же продукт, излишек должен быть по необходимости меньше.

Заметьте, кроме того, что то же количество людей потребляет гораздо меньше в странах жарких. Климат этих стран требует, чтобы жители были умеренны в еде, для того чтобы быть здоровыми.

Европейцы, которые желают жить там, как у себя, гибнут от дизентерии и несварения. «Мы,— говорит Шарден,— плотоядные животные, волки, в сравнении с азиатами. Некоторые приписывают умеренность персиян тому, что их страна менее обработана, а я, напротив, полагаю, что их страна менее изобильна припасами потому, что жителям их надо меньше. Если бы их умеренность,— продолжает он,— была результатом неурожайности страны, то ели бы мало только бедняки, между тем как в действительности там все едят мало, и ели бы больше или меньше в каждой провинции сообразно с плодородием местности, между тем одна и та же умеренность господствует во всем государстве. Они сильно хвалятся своим образом жизни, говоря, что достаточно только посмотреть на их цвет лица, чтобы признать, насколько их образ жизни лучше образа жизни христиан. В самом деле, цвет лица персиян ровный, кожа у них красивая, тонкая и гладкая, тогда как цвет лица у армян и подданных, которые живут по-европейски, грубый, нечистый, а тела их толсты и тяжелы».

Чем ближе к экватору, тем меньше нужно людям. Они почти не едят мяса; рис, маис, кускус, маниона служат обыкновенной их пищей. В Индии есть миллионы людей, пища которых не стоит и одного су в день. Мы замечаем даже в Европе чувствительную разницу в аппетите между народами севера и юга. Испанец проживет восемь дней обедом одного немца. В странах, где люди более прожорливы, роскошь обращена, главным образом, на предметы потребления. В Англии роскошь проявляется в нагромождении на стол мясных блюд; в Италии вас угощают сахаром и цветами.

Роскошь в одеждах представляет подобное же различие. В климатах, где перемены времен года быстры и резки, одежда лучше и проще. В странах, где одеваются только для украшения, стремятся больше к блеску, чем к пользе, самая одежда является роскошью. В Неаполе вы можете увидеть каждый день на Позилиппо людей, прогуливающихся в затканном золотом кафтане, но без чулок. То же самое надо заметить и о зданиях: когда нечего бояться непогоды, тогда все внимание обращается на великолепие. В Париже, в Лондоне стремятся устраивать теплые и удобные квартиры; в Мадриде устраивают великолепные салоны, но зато нет закрывающихся окон, а спят в крысиных норах.

В теплых странах пищевые продукты более существенны и питательны; это — третье различие, которое не может не оказать влияния на второе. Почему едят столько овощей

в Италии? Потому что овощи там доброкачественны, питательны и очень вкусны. Во Франции, где овощи питаются только водой, они сами не питательны и не имеют почти никакого значения в обеде, а тем не менее они занимают не меньшие участки земли, а возделывать их стоит, по крайней мере, такого же труда. Опыт показал, что хлебные растения Берберии к тому же низшего качества, чем хлебные растения Франции, дают тем не менее гораздо больше муки; а хлебные растения Франции, в свою очередь, дают больше муки, чем хлебные растения севера. Отсюда можно вывести заключение, что подобная постепенность наблюдается вообще по направлению от экватора к полюсу. А разве это не очевидная невыгода получать из равного количества продуктов меньшее количество пищи?

Ко всем этим различным соображениям я могу прибавить еще одно, которое из них вытекает и их подкрепляет: теплые страны менее нуждаются в обитателях, чем страны холодные, кормить же могут больше. Это дает в результате двойной избыток, к выгоде опять-таки деспотизма. Чем большее пространство занимает одно и то же количество жителей, тем труднее становятся восстания, потому что нельзя собраться ни быстро, ни тайно и потому что правительству всегда легко расстроить проекты восстания и отрезать пути сообщения. Но чем теснее живет многочисленный народ, тем менее правительство может узурпировать права суверена: главари совещаются в своих квартирах так же безопасно, как государь в своем совете, и толпа так же быстро собирается на площадях, как войско в своих казармах. Преимущество тиранического правительства проявляется в том, что оно действует на больших расстояниях. С помощью имеющихся в его распоряжении точек опоры сила его на больших расстояниях увеличивается, как сила рычага*. Сила же народа, напротив, может иметь значение лишь в том случае, если она сконцентрирована; она испаряется и теряется, расширяясь, напоминая, таким образом, действие пороха, рассыпанного по

---

* Это не противоречит тому, что я сказал ранее (книга II, гл. IX) о неудобствах больших государств, потому что там речь шла о власти правительства по отношению к своим членам, а здесь дело идет о силе его, направленной против подданных. Рассеянные члены правительства служат ему точками опоры, чтобы воздействовать в отдаленных местах на народ; но у него нет никакой точки опоры, чтобы прямо воздействовать на своих собственных членов. Таким образом, в одном случае длина рычага составляет его слабость, а в другом — его силу.

земле и воспламеняющегося отдельными зернами. Страны наименее населенные наиболее пригодны для тирании. Дикие звери царят только в пустынях.

ГЛАВА IX

О ПРИЗНАКАХ ХОРОШЕГО ПРАВИТЕЛЬСТВА

Когда ставят ребром вопрос, какое правительство наилучшее, то задают вопрос в такой же степени неразрешимый, как и неопределенный; или же, если угодно, вопрос этот имеет столько же верных решений, сколько есть возможных комбинаций в абсолютных и относительных положениях народов.

Но если бы спросили, по каким признакам можно узнать, что данный народ хорошо или плохо управляется, то это было бы уже нечто другое, и вопрос действительно мог бы быть разрешен.

Тем не менее вопрос этот не разрешается, потому что каждый хочет разрешить его по-своему. Подданные хвалят общественное спокойствие; граждане — свободу частных лиц; один предпочитает неприкосновенность имущества, а другой — неприкосновенность личности; один уверяет, что лучшее правительство должно быть и самым суровым, а другой — что оно должно быть самым мягким; один требует, чтобы преступления наказывались, а другой — чтобы они предупреждались; один находит прекрасным, чтобы соседи боялись его, а другой предпочитает быть неизвестным; один доволен, когда деньги находятся в обращении, а другой требует, чтобы у народа был хлеб. Даже если бы и пришли к соглашению по этим пунктам и другим подобным, подвинулось ли бы от этого дело вперед? Раз нет точной мерки для моральных качеств, то если бы и состоялось соглашение относительно признаков, как притти к соглашению относительно оценки этих признаков?

Что касается меня, то я всегда удивляюсь тому, что не обращают внимания на следующий простой признак или что по недобросовестности не хотят признать его. Какова цель политической ассоциации? Сохранение и благоденствие ее членов. А какой наиболее верный признак того, что они сохраняются и благоденствуют? Количество их и рост населения. Не ищите в другом месте этого столь оспариваемого признака; при равных прочих условиях правительство, при котором без иностранной помощи, без натурализации, без колоний граждане размножаются и расселяются все

больше и больше,— и есть бесспорно наилучшее правительство. То правительство, при котором народ уменьшается и погибает,— наихудшее. Математики, теперь дело за вами: считайте, измеряйте и сравнивайте! *

ГЛАВА X

О ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА И О НАКЛОННОСТИ ЕГО К ВЫРОЖДЕНИЮ

Как частная воля беспрестанно противодействует воле общей, так и правительство постоянно направляет свои усилия против суверенитета. Чем значительнее это усилие, тем более подвергается порче конституция, и так как в данном

---

* На основании того же принципа нужно судить о веках, заслуживающих предпочтения по отношению к благоденствию рода человеческого. Слишком изумлялись тем векам, в которых процветали науки и искусства, не проникая в тайные причины этого процветания и не принимая во внимание его гибельных результатов. «Idque apud imperitos humanitas vocabatur, cum pars servitutis esset». [«Люди необразованные называли человечеством и такое состояние, когда часть народа находится в рабстве, *Tac.*, Agricola, 31]. Разве мы никогда не видим в книжных максимах грубые интересы авторов, которые побуждают их высказываться известным образом? Нет, что бы они ни говорили, но когда, несмотря на внешний блеск, население в стране уменьшается, то это неправда, что все идет хорошо; и вовсе недостаточно того, чтобы какой-нибудь поэт имел сто тысяч ливров ренты, чтобы его век считался лучшим из всех. Нужно обращать менее внимания на внешнюю тишину и на спокойствие начальников и более на благосостояние целых наций и в особенности на благосостояние государств с большим количеством населения. Град разоряет несколько округов, но редко производит голод. Бунты, гражданские войны, сильно пугают глав государства, но не они являются причиной истинных несчастий народов, которые могут оставаться даже спокойными, в то время когда идет спор о том, кто будет их тиранить. Истинное процветание или бедствие народов возникают лишь из их постоянного состояния; когда все задавлено под ярмом, тогда именно все и погибает, тогда именно начальники, разоряя народы, сколько им угодно, «ubi solitudinem faciunt, pacem appellant» [«обращая страну в пустыню, называют это восстановлением мира», *Tac.*, Agricola, 31]. Когда распри вельмож мутили французское королевство и когда парижский коадъютор ходил в парламент с кинжалом в кармане, то это не помешало, однако, французскому народу жить счастливо в честном и свободном благоденствии. Когда-то Греция процветала среди самых жестоких войн; кровь текла ручьями, и вся страна была переполнена людьми. Казалось, говорит Маккиавелли, что среди убийств, проскрипций, гражданских войн наша республика становилась более могущественной; добродетель граждан, их

случае нет другой корпоративной воли, которая, сопротивляясь воле государя, уравновесила бы последнюю, то рано или поздно должен наступить момент, когда государь подавит, наконец, суверена и нарушит общественный договор. Это и есть тот неизбежный и прирожденный порок, который с момента рождения политического организма стремится беспрестанно к его разрушению, точно так же как старость и смерть разрушают, наконец, человеческое тело.

Есть два общих пути, следуя по которым правительство вырождается, а именно: или когда оно концентрируется, или когда государство распадается.

Правительство концентрируется, когда оно переходит от большого количества людей к небольшому, т. е. когда оно переходит от демократии к аристократии и от аристократии — к королевству; это его естественный уклон *. Если бы прави-

---

нразы, их независимость имели больше значения для укрепления республики, чем все их раздоры для ее ослабления. Небольшое возбуждение поднимает души, и процветанию людей в действительности помогает гораздо больше свобода, а не мир.

* Медленное образование и прогресс Венецианской республики в ее лагунах представляет разительный пример этой последовательности, и достойно удивления, что вот уже 1 200 лет как венецианцы находятся только во второй стадии, начавшейся в Serrar di Consiglio в 1198 г. Что касается древних герцогов, которыми их упрекают, то, что бы ни говорила Squitinio della liberta veneta, все-таки доказано, что эти герцоги не были суверенами.

Мне, наверное, укажут на Римскую республику, которая, по мнению многих, шла путем совершенно обратным, переходя от монархии к аристократии и от аристократии к демократии. Я совершенно не склонен соглашаться с этим.

Первым учреждением Ромула было смешанное правительство, которое быстро выродилось в деспотизм. По причинам особенным государство погибло преждевременно, как гибнет иногда новорожденный, не достигнув зрелого возраста. Изгнание Тарквиниев было настоящей эпохой рождения республики. Но она не приняла вначале постоянной формы, так как патрициат не был отменен и дело было сделано только наполовину.

Раз таким образом наследственная аристократия, самое худшее из законных правительств, находилась в конфликте с демократией, то форма правительства, оставаясь неясной и зыбкой, была точно определена (как это доказал Маккиавелли) лишь с учреждением трибуната; тогда только появились истинное правительство и истинная демократия. В самом деле, народ был тогда не только сувереном, но также правителем, судьей; сенат был только подчиненным трибуналом, назначение которого было сдерживать и концентрировать правительство. И даже сами консулы, хотя и были патрициями и первыми магистратами и военачальниками с абсолютной властью во время войны, в Риме были не больше как президентами народа.

тельство переходило от малого числа лиц к большому, то можно было бы сказать, что оно ослабляется; но этот обратный ход невозможен.

В самом деле, правительство изменяет свою форму только тогда, когда, использовав все свои силы, оно оказывается слишком слабым для того, чтобы быть в состоянии сохранить прежнюю форму. Если бы, расширяясь, оно продолжало, таким образом, ослабляться, то его сила стала бы совершенно ничтожной, и оно просуществовало бы еще меньшее количество времени. Итак, необходимо вернуться назад и сжать пружины государства, по мере того как они ослабляются, иначе государство, которое это правительство поддерживает, рухнет. Распадение государства может наступить двояким образом.

Во-первых, когда государь перестает управлять государством согласно законам и узурпирует верховную власть. Тогда происходит замечательная перемена; не правительство, а государство суживается: я хочу сказать, что большое государство распадается и в его среде образуется новое государство, состоящее только из членов правительства, которое по отношению ко всему остальному народу является только его повелителем и тираном. Таким образом, в тот самый момент, когда правительство узурпирует суверенитет, общественный договор расторгнут, и все простые граждане, вернувшись по праву в состояние естественной свободы, вынуждаются, но вовсе не обязаны повиноваться.

Тот же случай наступает и тогда, когда члены правительства, каждый отдельно, узурпируют власть, которой они должны пользоваться только совместно; такая узурпация является не меньшим нарушением законов и производит еще больший беспорядок. Тогда появляется, так сказать, столько

С этого времени правительство приняло естественный свой уклон и стало сильно стремиться к аристократии. Так как патрициат погибал сам по себе, то аристократия сосредоточивалась не в классе патрициата. как это имеет место в Венеции и Генуе, но в сенате, состоявшем из патрициев и плебеев, и даже в трибунате, когда трибуны начали узурпировать в свою пользу активную власть: ибо слова не меняют сущность дела, и когда народ имеет начальников, которые управляют вместо него, то какое бы имя эти начальники ни носили, они всегда будут составлять аристократию.

Злоупотребления аристократии породили гражданские войны и триумвират. Сулла, Юлий Цезарь, Август стали фактическими истинными монархами, и, наконец, под влиянием деспотизма Тиверия, государство разложилось. Римская история не опровергает, таким образом, моего принципа, а лишь подтверждает его.

же государей, сколько есть должностей, и государство, разделенное на части не менее чем правительство, гибнет или изменяет свою форму.

Когда государство разлагается, то злоупотребление правительства, каково бы оно ни было, носит общее имя *анархии*. В отдельности демократия вырождается в *охлократию*, аристократия — в *олигархию*; я мог бы прибавить, что монархия вырождается в *тиранию*, но последнее слово двусмысленно и нуждается в объяснении.

В вульгарном значении тиран — это король, который управляет, применяя насилие и не обращая никакого внимания ни на справедливость, ни на законы. В своем точном смысле слово *тиран* обозначает частного человека, присваивающего себе королевскую власть, не имея на это права. В этом именно смысле понимали слово *тиран* греки. Они присваивали его безразлично и добрым и злым государям, власть которых не была законной *. Итак, *тиран* и *узурпатор* — вполне синонимы.

Чтобы дать различные имена различным вещам, я называю тираном узурпатора царской власти, а деспотом — узурпатора суверенной власти. Тиран — это тот, кто внедряется в государство вопреки закону, для того чтобы управлять по законам. Деспот же — это тот, кто ставит себя выше самих законов. Таким образом, тиран может и не быть деспотом, но деспот в то же время всегда и тиран.

ГЛАВА XI

О ГИБЕЛИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОРГАНИЗМА

Таково естественное и неизбежное падение наилучше устроенных правительств. Если Спарта и Рим погибли, то какое государство может надеяться вечно существовать? Если мы желаем образовать прочное учреждение, не будем думать,

---

* «Omnes enim et habentur et dicuntur tyranni, qui potestate utuntur perpetua in ea civitate quae libertate usa est», *Corn. Nep.*, Miltiad.

(«Тиранами считаются и называются все те, которые пользуются несменяемой властью в государстве, ранее пользовавшемся свободой»). Правда, Аристотель делает различие между тираном и королем в том отношении, что первый управляет для своей личной пользы, а второй — лишь для пользы своих подданных. Но помимо того, что все греческие авторы употребляли вообще слово «тиран» в другом смысле, как это доказывается в особенности Гиероном из Ксенофонта, из различия, проводимого Аристотелем, можно было бы вывести то заключение, что с сотворения мира не существовало до сих пор ни одного короля.

что мы можем сделать его вечным. Чтобы иметь успех, не следует стремиться к невозможному, не льстить себя надеждой дать человеческому творению такую прочность, какая человеческим делам не свойственна.

Политический организм точно так же, как и человеческое тело, начинает умирать с момента своего рождения и носит в самом себе причины своего разрушения. Но и тот и другой организм может иметь более или менее крепкую конституцию, приспособленную к тому, чтобы сохранить его более или менее продолжительное время. Конституция человека есть дело природы; конституция государства — произведение искусства. Не от людей зависит продолжить их жизнь, но от них зависит продолжить жизнь государства насколько возможно дольше, дав ему возможно лучшую конституцию. Наилучше устроенное государство придет к концу, но позже, чем другое, если какой-нибудь непредвиденный случай не погубит его преждевременно.

Принцип политической жизни заключается в суверенной власти. Законодательная власть есть сердце государства; исполнительная власть — его мозг, приводящий в движение все его части. Мозг может быть парализован, а индивид будет все еще жить. Человек становится идиотом и все-таки живет, но как только сердце прекратило свои функции — животное умирает.

Существование государства поддерживается не законами, а законодательной властью. Вчерашний закон не обязывает сегодня, но молчание понимается как молчаливое согласие, и считается, что суверен беспрестанно подтверждает законы, которых он не отменяет, хотя и в состоянии это сделать. Все, что суверен объявил как свою волю один раз, продолжает быть его волей, пока он ее не отменит.

Почему же относятся с таким уважением к старым законам? Именно по вышеизложенным основаниям. Надо думать, что только превосходство воли древних могло их сохранить в течение столь продолжительного времени: если бы суверен не признавал их постоянно полезными, то он тысячу раз отменил бы их. Вот почему в каждом хорошо устроенном государстве законы не только не теряют своей силы, но постоянно приобретают еще большую силу; предрассудок древности делает их каждый день все более и более почтенными; тогда как везде, где законы, старея, вместе с тем и ослабляются, ослабление это служит доказательством того, что законодательной власти там больше не существует и что государство больше не живет.

ГЛАВА XII

О ТОМ, КАК ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ СУВЕРЕННАЯ ВЛАСТЬ

Так как у суверена нет другой власти кроме законодательной, то он действует только через посредство законов; а так как законы суть только подлинные акты общей воли, то суверен может действовать, лишь когда народ собран. Скажут, что собранный вместе народ — химера. Да, это химера теперь, но это не было химерой две тысячи лет назад. Разве люди изменились по своей природе? Границы возможного в вещах моральных менее узки, чем это нам кажется; их суживают наши предрассудки, наши слабости, наши пороки. Низкие души не верят в великих людей; подлые рабы улыбаются с насмешливым видом при слове *свобода*.

На основании того, что было, посмотрим, что может произойти; я не буду говорить о древнегреческих республиках, но Римская республика была, кажется мне, большим государством, а город Рим — большим городом. Последняя перепись насчитала в Риме четыреста тысяч граждан, способных носить оружие, а последняя перепись империи — более четырех миллионов граждан, не считая подданных, иностранцев, женщин, детей, рабов.

Каких только трудностей не приходилось испытывать, когда нужно было часто собирать огромный народ столицы и окрестностей! А между тем не проходило и нескольких недель, чтобы римский народ не был собран даже несколько раз. И он не только пользовался правами суверенитета, но и частью прав правительственных. Он решал известные дела, судил в известных случаях, и весь этот народ на общественной площади был так же часто правителем, как и гражданином.

Восходя к первым временам существования наций, мы найдем, что большая часть древних правительств, даже монархических, каковыми были правительства македонцев и франков, обладали подобными советами. Как бы там ни было, но этот единственный неопровержимый факт отвечает на все затруднения: заключение от существующего к возможному кажется мне логическим.

ГЛАВА XIII

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Недостаточно, чтобы народ, собравшись, один раз установил государственное устройство, санкционировав свод за-

конов; недостаточно также, чтобы он установил постоянное правительство или чтобы он раз навсегда озаботился выбором должностных лиц. Кроме чрезвычайных собраний, которые могут вызываться непредвиденными случаями, необходимо, чтобы были определенные периодические собрания, которых ничто не могло бы ни отменить, ни отсрочить, чтобы в определенный день народ был законно созываем по закону и чтобы для этого не было необходимости в каком-либо ином формальном созыве. Но вне этих собраний, законных уже по самому сроку их созыва, всякое народное собрание, не созванное властями, поставленными для выполнения этой функции, и состоявшееся вне предписанных форм, должно считаться незаконным, и все, что там будет сделано, должно считаться недействительным, так как самый приказ о собрании должен исходить от закона.

Что же касается того, как часто должны происходить законные собрания, то это зависит от стольких соображений, что дать точные правила по этому предмету было бы затруднительно. Можно в общем сказать только одно, что чем правительство сильнее, тем чаще должен проявлять себя суверен.

Скажут, что это может быть пригодно для одного города, но что делать, когда в государстве имеется много городов? Надо ли тогда разделить суверенную власть или же сконцентрировать ее в одном городе и поработить все остальное? Я отвечу, что не надо делать ни того, ни другого. Во-первых, суверенная власть проста и едина, и ее нельзя разделить, не разрушая ее. Во-вторых, один город, как и одна нация, не может законным образом быть подвластным другому городу, потому что сущность политического организма заключается в согласовании повиновения и свободы, а слова *подданный* и *суверен* суть понятия и идентичные и соотносительные, идея их объединяется в одном слове *гражданин*.

Я отвечу также, что нецелесообразно соединять много городов в одну гражданскую общину и что если мы желаем учредить такой союз, то не надо обманывать себя, думая избегнуть проистекающего отсюда естественного неудобства. Не нужно выставлять большие государства в качестве возражения тому, кто желает, чтобы государства имели малые размеры. Но как придать небольшим государствам достаточно силы, чтобы они были в состоянии сопротивляться большим, как некогда греческие города противостояли персидскому царю и как еще недавно Голландия и Швейцария сопротивлялись австрийскому дому?

Тем не менее, если нельзя ввести государство в правильные границы, то остается еще один исход — это не допускать существования столицы, а обязывать правительство иметь местопребывание последовательно в каждом городе и собирать также в каждом из этих городов по очереди штаты страны.

Заселяйте равномерно территорию, предоставьте повсюду одни и те же права, внесите повсюду изобилие и жизнь,— и государство сразу станет таким сильным и столь хорошо управляемым, насколько это для него вообще возможно. Вспомните, что стены городов образуются только из развалин сельских домов. При виде каждого дворца, который воздвигается в столице, мне кажется, что я вижу, как целая страна покрывается развалинами.

ГЛАВА XIV

(ПРОДОЛЖЕНИЕ)

Как только народ законно собрался как суверенный орган, всякая юрисдикция правительства прекращается, действие исполнительной власти приостановлено, и личность последнего гражданина так же священна и неприкосновенна, как и личность первого должностного лица, потому что там, где находится представляемый, нет более представителя. Большая часть смут, возникавших в Риме во время комиций, происходила оттого, что или не знали этого правила, или пренебрегали им. Консулы были тогда только председателями народа; трибуны — простыми ораторами*, а сенат не имел никакого значения.

Эти периодические приостановки действий власти, когда государь признает или должен признать действительного начальника, всегда страшили его; а народные собрания, которые служат оплотом для политического организма и уздой для правительства, во все времена приводили в ужас глав государства; поэтому-то они никогда не щадили ни забот, ни возражений, ни затруднений, ни обещаний, чтобы отбить у граждан охоту к ним. Когда граждане скупы, трусливы, малодушны, более любят покой, чем свободу, то они недолго сопротивляются повторным усилиям правительства, а

* Приблизительно в том же смысле, какой придают этому слову в английском парламенте (президент палаты общин называется Speaker, или оратор). Сходство функций возбудило бы конфликт между консулами и трибунами, хотя бы всякая юрисдикция и была приостановлена.

так как сила давления со стороны правительства беспрестанно увеличивается, то суверенная власть в конце концов исчезает, и большая часть гражданских общин приходит в упадок и погибает преждевременно.

Но между суверенной властью и произвольным правительством иногда становится средняя власть, о которой нужно поговорить.

ГЛАВА XV

О ДЕПУТАТАХ, ИЛИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ

Как только общественная служба перестает быть главным занятием граждан и они предпочитают служить своим кошельком, чем своей особой, государство близится к гибели. Нужно ли итти в сражение, они нанимают войска, а сами остаются дома; нужно ли итти в совет, они назначают депутатов и остаются дома. Наконец, вследствие лени и благодаря деньгам они приобретают солдат, чтобы поработить отечество, и представителей, чтобы его продать.

Хлопоты по торговле и ремеслам, жадный интерес к барышам, нега и любовь к удобствам переводят личные повинности на деньги. Уступают часть своей прибыли, для того чтобы спокойно увеличивать последнюю. Дайте денег, и скоро вы будете в оковах. Слово *финансы* есть слово рабское; оно неизвестно в гражданской общине. В стране действительно свободной граждане все делают своими руками, а не деньгами. Вместо того чтобы платить за освобождение их от обязанностей, они заплатили бы, чтобы иметь возможность самим их выполнить. Я очень далек от общераспространенных идей; я считаю натуральные повинности делом менее противным свободе, чем налоги.

Чем лучше государство устроено, тем более в сознании граждан общественные дела берут верх над частными. Да и частных дел в таких государствах гораздо меньше, потому что, раз сумма общего блага предоставляет каждому индивиду более значительную часть, уже нет такой необходимости добиваться благосостояния посредством частных забот. В хорошо устроенной гражданской общине каждый стремится на собрание; при дурном правительстве никто не хочет сделать и одного шага, чтобы пойти на собрание, так как никто не интересуется тем, что там делается; а не интересуется потому, что можно заранее предвидеть, что общая воля не будет там господствовать, и потому, наконец, что домашние

заботы поглощают все внимание. Хорошие законы ведут за собой еще лучшие; дурные законы еще худшие. Если кто-нибудь говорит о государственных делах: «какое мне дело?» — то нужно считать, что государство погибло.

Охлаждение любви к отечеству, более яркое проявление частных интересов, огромные размеры государств, завоевания, злоупотребления правительства привели к учреждению депутатов, или представителей народа, в национальных собраниях. В некоторых странах смеют называть это третьим сословием (tiers-état). Таким образом, частный интерес двух сословий поставлен на первый и второй план, общественный же интерес — только на третий.

Суверенитет не может быть представлен по той же самой причине, по которой он не может быть отчуждаем. Он заключается исключительно в общей воле, а воля не может быть представлена: это — или та же самая воля, или другая; средины здесь нет. Народные депутаты не суть и не могут быть представителями народа, они только его комиссары; они ничего не могут постановлять окончательно; всякий закон, которого народ не ратифицировал самолично, недействителен; это даже не закон. Английский народ считает себя свободным; он горько ошибается; он свободен только во время выборов членов парламента; как только они выбраны, он становится рабом, он — ничто. То применение, которое он делает из своей свободы в краткие моменты пользования ею, заслуживает того, чтобы он ее терял.

Идея представительства — идея современная; она идет от феодального правления, этого несправедливого и абсурдного правления, в котором род человеческий унижен и в котором самое имя человека обесчещено. В древних республиках и даже монархиях народ никогда не имел представителей, и даже это слово не было известно. Замечательно, что в Риме, где трибуны были столь священны, нельзя было даже и представить себе, чтобы они могли узурпировать функции народа, и что среди такой огромной массы они никогда не попытались провести по собственному почину хотя бы один плебисцит. А какие затруднения причиняла иногда толпа, можно видеть хотя бы по тому, что происходило во времена Гракхов, когда одна часть граждан подавала свои голоса с крыш.

Там, где право и свобода — все, неудобства не имеют никакого значения. У такого мудрого народа, каким был римский, все было поставлено на свое истинное место; он позволял своим ликторам делать то, чего бы не осмелились сде-

лать трибуны; он не боялся, что его ликторы захотят его представлять.

Чтобы объяснить, каким образом трибуны представляли иногда народ, достаточно понять, каким образом правительство представляет суверена. Так как закон есть не что иное, как объявление общей воли, то ясно, что в своей законодательной власти народ не может быть представлен, но он может и должен быть представлен в своей исполнительной власти, которая есть лишь сила, примененная согласно закону. Это показывает, что, исследуя хорошо суть вещей, мы найдем, что очень немногие народы имеют законы. Как бы там ни было, несомненно, что трибуны, не обладая ни малейшей долей исполнительной власти, никогда не могли представлять римский народ на основании прав, присвоенных их должности,— они могли это сделать, лишь узурпируя права сената.

У греков все, что народ должен был делать, он делает сам; он беспрестанно собирался на площади. Он жил в мягком климате, он не был жаден; рабы выполняли все работы; его великим занятием была его свобода. Раз нет налицо тех же преимуществ, то как могут быть сохранены те же права? Ваш более суровый климат увеличивает число потребностей *. Шесть месяцев в году общественная площадь непригодна для собраний; звуки вашего языка так глухи, что они не могут быть расслышаны на открытом воздухе; вы заботились больше о вашей прибыли, чем о вашей свободе, и вы боитесь гораздо менее рабства, чем бедности.

Как! свобода поддерживается, только опираясь на рабство? Может быть. Крайности соприкасаются. Все, что не есть природа, имеет свои недостатки, а в гражданском обществе недостатков еще больше, чем во всем остальном. Есть такие несчастные положения, когда можно сохранить свою собственную свободу только за счет свободы других, и гражданин может быть истинно свободным, лишь когда раб находится в крайне рабском положении. Таково было положение Спарты. Что касается вас, современные народы, то у вас нет рабов, но вы сами — рабы; вы оплачиваете их свободу своей свободой; вы можете хвастать этим преимуществом сколько вам угодно, я же нахожу, что в нем больше трусости, чем гуманности.

---

* Желать применять в странах холодных роскошь и негу жителей Востока это значит желать в то же время налагать на себя и их оковы; это значит быть по необходимости в еще большем подчинении, чем эти жители.

Я вовсе не хочу всем этим сказать, что нужно иметь рабов, ни что право рабства законно, так как я доказал противоположное; я указываю, только причины, почему современные народы, которые считают себя свободными, имеют представителей и почему древние народы не имели таковых. Как бы там ни было, как только народ дает себе представителей, он уже не свободен; как народ, он уже не существует.

Основательно исследовав все это, я вижу, что суверену отныне возможно сохранить свои права лишь в том случае, если гражданская община очень мала. Но если она невелика, то не будет ли она покорена? Нет. Я покажу ниже*, как можно соединить внешнее могущество великого народа со счастливым управлением и хорошим порядком маленького государства.

ГЛАВА XVI

О ТОМ, ЧТО УЧРЕЖДЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА НЕ ЕСТЬ ДОГОВОР

Раз установлена надлежащим образом законодательная власть, следует установить также власть исполнительную; ибо эта последняя, которая действует только частными актами и отличается по сущности своей от первой, естественно отделена от нее. Если бы возможно было, чтобы суверен, рассматриваемый как таковой, имел власть исполнительную, то право и действие были бы так смешаны, что нельзя было бы различить, что закон и что не-закон, и политический организм, таким образом искаженный, сделался бы жертвой насилия, для борьбы с которым он учрежден.

Так как все граждане, согласно общественному договору, равны, то все могут предписать то, что все должны исполнить; тогда как никто не имеет права требовать, чтобы другой сделал то, чего он сам не сделает. Вот именно это право, необходимое для того, чтобы политический организм жил и двигался, суверен и передает государю, учреждая правительство.

Многие уверяли, что акт этого учреждения есть договор между народом и начальниками, которых он назначает себе, договор, посредством которого обе стороны устанавливают

* Я предполагал сделать это в продолжение этого трактата, а именно, когда при обсуждении внешних отношений я бы перешел к вопросу о конфедерациях. Предмет совершенно новый, принципы которого следует еще установить.

условия, причем одна сторона обязывается повелевать, а другая — повиноваться. Надо, я думаю, согласиться, что это довольно странный способ заключать договоры. Но посмотрим, насколько это мнение выдерживает критику.

Во-первых, верховная власть точно так же не может измениться, как и отчуждаться; ограничивать ее — это значило бы ее разрушать. Было бы нелепым противоречием, если бы суверен признал над собой начальника. Обязаться повиноваться господину — значит возвратиться в состояние полной свободы.

Кроме того, очевидно, что подобный договор народа с определенными личностями был бы актом частным, откуда следует, что этот договор не мог бы быть ни законом, ни актом суверенитета, а, следовательно, он был бы незаконным.

Очевидно также, что договаривающиеся стороны находились бы между собой в подчинении исключительно закону природы и без всякого гаранта их взаимных обязательств, что во всех отношениях противно гражданскому состоянию: поскольку исполнителем всегда будет тот, в чьих руках сила, то он мог бы в такой же мере назвать договором акт человека, который сказал бы другому: «Я отдаю тебе все свое имущество с условием, что ты вернешь мне то, что захочешь».

Есть только один договор в государстве: это договор ассоциации; он сам по себе исключает возможность всякого другого. Нельзя себе представить никакого другого общественного договора, который бы не был нарушением первого.

ГЛАВА XVII

ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

В каком смысле нужно понимать акт, по которому учреждается правительство? Я замечу прежде всего, что акт этот сложный и состоит из двух других актов: во-первых, установления закона, во-вторых, исполнения его.

Посредством первого акта суверен постановляет, что будет создан правительственный орган в такой-то и такой-то форме. Ясно, что этот акт есть закон.

Посредством второго акта народ назначает начальников, на которых будут возложены функции установленного правительства. Так как это назначение есть акт частный, то это не новый закон, а лишь продолжение первого и в то же время правительственное действие.

Трудно только понять, каким образом возможен правительственный акт ранее, чем правительство существует, и каким образом народ, который есть только или суверен или подданный, может стать в известных случаях государем или правителем.

Здесь раскрывается перед нами еще одно из удивительных свойств политического организма, посредством которого он сочетает действия, по внешнему виду противоречивые. Эта операция производится посредством внезапного превращения суверенитета в демократию, так что без всякого чувствительного изменения, одним лишь новым отношением всех ко всем, граждане, став правителями, переходят от актов общих к актам частным и от закона — к его исполнению.

Это изменение отношений вовсе не есть плод тонкого умозрения без практического применения. Оно имеет место ежедневно в английском парламенте, где нижняя палата в известных случаях превращается в большой комитет, чтобы лучше обсудить дела, и становится, таким образом, из суверенного собрания, каким она была в предыдущий момент, простой комиссией; так что потом она делает доклад самой себе, как палате общин, о том, что она постановила в качестве большого комитета, и снова обсуждает на одном основании то, что она уже постановила на другом.

В том-то и заключается преимущество демократического правительства, что оно может быть установлено на деле простым актом общей воли, после чего это временное правительство продолжает владеть властью, если такова принятая форма, или учреждает именем суверена правительство, предписанное законом. Таким образом, все происходит правильно; нет возможности установить правительство каким-нибудь другим законным способом, не отказываясь от установленных выше начал.

ГЛАВА XVIII

О СРЕДСТВАХ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ УЗУРПАЦИИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Из этих объяснений следует, в подтверждение высказанного в главе XVI, что акт учреждения правительства есть не договор, а закон; что хранители исполнительной власти являются не господами народа, а его чиновниками; что народ может назначить их и сменить, когда ему угодно; что их роль вовсе не в том, чтобы договариваться, а в том, чтобы

повиноваться, и что, принимая на себя функции, возлагаемые на них государством, они выполняют свой гражданский долг, не имея ни в каком случае права спорить относительно условий.

Когда же случается, что народ устанавливает правительство наследственное, будь то монархическое в одной какой-нибудь семье, будь то аристократическое в одном сословии граждан, то это не значит, что он принимает на себя обязательства; он дает лишь временную форму администрации до тех пор, пока ему не будет угодно устроить ее иначе.

Правда, эти перемены всегда опасны, и не следует менять установленное правительство, если только оно не становится несовместимым с общественным благом. Но эта осмотрительность есть политическое правило, а не положение права, и государство точно так же мало обязано оставлять гражданскую власть в руках своих начальников, как военную власть в руках своих генералов.

Правда и то, что в подобном случае следует соблюдать наивозможно более заботливо все установленные формальности для отличия правильного и законного акта от мятежа и воли всего народа от возгласов одной какой-нибудь партии. В таких случаях опасных положений нужно предоставлять лишь то, в чем нельзя отказать по всей строгости права; и из этого-то обязательства государь извлекает большие преимущества, служащие ему для сохранения своей власти вопреки народу; причем нельзя даже сказать, что он власть узурпировал, потому что, пользуясь внешним образом только своими правами, он очень легко может их расширить и помешать под предлогом общественного спокойствия собраниям, назначенным для восстановления истинного порядка; так что он извлекает пользу из молчания, которое он сам же мешает нарушить, или из неправильностей, которые он совершает, для того чтобы учесть в свою пользу согласие тех, кого страх заставляет молчать, и чтобы наказать тех, кто осмеливается говорить. Таким именно образом децемвиры, будучи сначала выбраны только на один год, затем, когда полномочия их были возобновлены еще на год, сделали попытку удержать свою власть навсегда, не позволяя больше комициям собираться; и этим же легким способом все правительства мира, раз облеченные общественными полномочиями, узурпируют рано или поздно суверенную власть.

Периодические собрания, о которых я раньше говорил, способны предупредить или устранить это несчастье, в особен-

ности когда они не нуждаются в формальном созыве; потому что тогда государь не сумел бы помешать им иначе, как объявив себя открыто нарушителем законов и врагом государства.

Открытие таких собраний, которые имеют предметом только сохранение общественного договора, должно начинаться двумя предложениями, которых никогда нельзя отменить и которые должны голосоваться каждое отдельно.

Первое: «Угодно ли суверену сохранить существующую форму правительства?» Второе: «Угодно ли народу оставить управление в руках тех, на которых оно теперь возложено?» Я предполагаю здесь то, что, как мне кажется, я доказал, а именно: что нет в государстве ни одного основного закона, который не мог бы быть отменен, не исключая и общественного договора; потому что если бы все граждане собрались, чтобы разрушить этот договор по взаимному соглашению, то нельзя сомневаться, что расторжение его произошло бы вполне законно. Гроций полагает даже, что каждый может отказаться от государства, членом которого он состоит, и получить обратно свою естественную свободу и свое имущество, удаляясь из страны*. Было бы нелепо думать, что все граждане вместе не могут сделать того, что может сделать отдельно каждый из них.

---

* Конечно, не оставляют страны, чтобы ускользнуть от выполнения долга и отказаться служить отечеству в момент, когда оно в вас нуждается. Бегство было бы тогда преступным и наказуемым, и оно было бы не уходом, а дезертирством.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА I

О ТОМ, ЧТО ОБЩАЯ ВОЛЯ НЕРАЗРУШИМА

До тех пор пока известное число соединившихся людей смотрят на себя как на одно целое, у них только одна воля, которая заботится о сохранении этого целого и об общем благе. Весь государственный механизм в таком случае силен и прост; принципы государства ясны и определенны; у него нет запутанных и противоречивых интересов; общее благо очевидно для всех, и нужен только здравый смысл, чтобы видеть его. Мир, единение, равенство враждебны политическим тонкостям. Людей прямых и простых трудно обмануть благодаря их простоте; приманки, утонченные предлоги не влияют на них; они даже недостаточно хитры, чтобы поддаваться обману. Когда у самого счастливого народа в мире можно видеть, как толпы крестьян, собравшись под дубом, решают государственные дела и всегда мудро ведут себя, то можно ли не проникнуться презрением к утонченностям других наций, которые с таким искусством и таинственностью делают самих себя знаменитыми и несчастными?

Управляемое таким образом государство нуждается в очень небольшом количестве законов, и по мере того как является необходимость в опубликовании новых законов, эта необходимость становится очевидной повсюду. Первый, кто их предложит, скажет только то, что все уже чувствуют, и не надо ни ухищрений, ни красноречия, чтобы превратить в закон то, что каждый решил сделать, убедившись, что другие поступят так же, как он.

Умствующих людей вводит в заблуждение то, что, имея перед глазами одни лишь государства, плохо устроенные с самого начала, они убеждаются в невозможности сохранить

в них подобное устройство. Они изощряются в измышлении всевозможным глупостей, в которых ловкий плут и беззастенчивый говорун сумеют убедить парижскую или лондонскую толпу. Они не знают, что Кромвель был бы наказан бернским народом, а герцог Бофор высечен женевцами.

Но когда общественные узы начинают ослабевать, а государство начинает терять силу, когда частные интересы оказывают свое воздействие и маленькие общества начинают влиять на большое,— общий интерес затуманивается и находит себе противников: в голосованиях нет больше единогласия; общая воля не есть уже воля всех; возникают противоречия, споры, и самое лучшее мнение не проходит без пререканий.

Наконец, когда государство, близкое уже к гибели, существует лишь как пустая и кажущаяся форма, когда общественная связь порвана во всех сердцах, когда самые низкие интересы нагло присваивают себе священное имя общественного блага,— тогда общая воля немеет; все, руководимые тайными мотивами, уже не рассуждают, как граждане, как будто государство никогда не существовало, и под именем законов мошенническим образом проводят несправедливые декреты, которые имеют целью лишь частные интересы.

Следует ли отсюда, что общая воля уничтожена или развращена? Нет,— она всегда постоянна, неизменна и чиста, но она подчинена другим волям, которые ее осиливают. Каждый, отделяя свой интерес от интереса общего, хорошо понимает, что он не может совершенно отделить его; но та часть общего зла, которая придется на его долю, кажется ему ничтожной в сравнении с исключительными благами, которые он намеревается себе присвоить. За исключением этого личного блага он стремится к общему благу из-за своего личного интереса так же сильно, как и всякий другой. Даже продавая свой голос за деньги, он не угашает в себе общей воли; он ее устраняет. Ошибка, которую он совершает, заключается в том, что он изменяет положение вопроса и отвечает совершенно не на тот вопрос, который ему предлагают; так что, вместо того чтобы сказать своим голосованием: «*это выгодно для государства*», он говорит: «*выгодно для такого-то человека или для такой-то партии, чтобы такое-то мнение прошло*». Таким образом, закон общественного порядка в собраниях заключается не столько в том, чтобы поддерживать общую волю, как в том, чтобы именно эту волю всегда спрашивали и чтобы она всегда отвечала.

Я мог бы здесь высказать много соображений о простом

праве голосования в каждом акте суверенитета, праве, которого ничто не может отнять у граждан; а также относительно права обсуждения, предложения, разделения и оспаривания, которое правительство всегда и тщательно предоставляет только своим членам. Но для изложения этого важного предмета потребовалось бы отдельное исследование, а всего сказать здесь я не могу.

ГЛАВА II

О ГОЛОСОВАНИЯХ

В предыдущей главе было указано, что способ, каким решаются общие дела, может дать довольно верное указание относительно современного состояния нравов и здоровья политического организма. Чем более царит в собраниях согласие, т. е. чем более взгляды приближаются к единогласию, тем более господствует общая воля; но долгие дебаты, разногласия, шум указывают на преобладание частных интересов и на упадок государства.

Это представляется менее очевидным, когда государство состоит из двух или более сословий, как патриции и плебеи в Риме, ссоры которых часто нарушали порядок комиций даже в самые лучшие времена республики. Но это исключение более кажущееся, чем реальное, потому что в таком случае, благодаря присущему политическому организму пороку, имеются в наличности, так сказать, два государства в одном, и то, что неверно по отношению к обоим вместе, верно по отношению к каждому отдельно. И в самом деле, даже во времена наиболее бурные, народные плебисциты, если только сенат не впутывался в них, проходили всегда спокойно при громадном большинстве голосов. Так как граждане имели один общий интерес, то и народ имел только одну волю.

На другом конце круга единогласие снова восстанавливается, а именно когда граждане, впав в рабство, не обладают больше ни свободой, ни волей. Тогда страх и лесть обращают голосование в восклицания; обсуждения больше нет: либо обожают, либо проклинают. Таков был отвратительный способ обсуждения в сенате при императорах. Иногда это производилось с смешными предосторожностями. Тацит замечает, что при Оттоне сенаторы, осыпая Вителия проклятиями, в то же время старались произвести ужасающий шум, дабы, если бы случайно Вителий стал повелителем, он не мог знать, что каждый из них сказал.

Из таких различных соображений вытекают правила, на основании которых необходимо регулировать способ подсчета голосов и сравнения мнений, сообразно большей или меньшей легкости распознавания общей воли и большего или меньшего падения государства.

Есть только один единственный закон, который по своей природе требует всеобщего согласия: это общественный договор, потому что гражданская ассоциация есть наиболее добровольный акт в мире. Так как всякий человек рожден свободным и волен распоряжаться собственной личностью, то никто не может под каким бы то ни было предлогом поработить его без его согласия. Решить, что сын раба рождается рабом, это значит решить, что он не рождается человеком.

Если же в момент создания общественного договора находятся противники его, то их оппозиция не опорочивает договора, а препятствует только тому, чтобы эти противники были включены в него: это иностранцы между гражданами. Когда государство учреждено, то согласие определяется местом жительства; жить на известной территории — это значит подчиняться суверенитету *.

Кроме этого первоначального договора решение большинства обязывает всех остальных: это последствие самого договора. Но является вопрос, каким образом человек может быть свободным и принужденным подчиняться чужой воле? каким образом противники данного закона остаются свободными и в то же время подчиненными законам, на которые они не давали своего согласия?

Я отвечаю, что вопрос неправильно поставлен. Гражданин дает свое согласие на все законы: и на те, которые изданы *помимо* его воли, и даже на те, которые наказывают его, когда он осмеливается нарушить какой-нибудь из них.

Постоянная воля всех членов государства есть общая воля; благодаря этой общей воле они — граждане и свободны **. Когда предлагается закон в собрании народа, то

---

* Это все должно относиться к свободному государству, потому что иначе семья, имущество, отсутствие пристанища, необходимость могут удержать обитателя в стране вопреки его воле, тогда его пребывание в стране не предполагает его согласия на договор или на нарушение договора.

** В Генуе на стенах тюрем и на кандалах каторжников начертано слова «свобода»; такое применение девиза прекрасно и справедливо; в самом деле, только преступники всех сословий мешают гражданину быть свободным. В стране, где все эти господа были бы на галерах, царила бы наиболее совершенная свобода.

их спрашивают вовсе не о том, одобряют ли они предложение, или отвергают его, но согласно ли это предложение с общей волей, которая есть и их воля, или нет: каждый, подавая свой голос, высказывается по этому вопросу, и из подсчета голосов вытекает изъявление общей воли. Таким образом, когда мнение, противоположное моему, побеждает, то это доказывает только то, что я ошибся, и то, что я считал общей волей, не было таковой. Если бы мое частное мнение победило, я сделал бы нечто другое, чем то, что я хотел сделать. И именно тогда я не был бы свободным.

Правда, это предполагает, что все свойства общей воли еще содержатся в большинстве; когда они перестают в нем заключаться, то, какое бы решение мы ни приняли, свободы уже нет.

Указав выше, как в публичных обсуждениях общая воля заменяется волями частными, я в то же время достаточно ясно указал средства, способные предупредить это злоупотребление; об этом я поговорю еще и ниже. По отношению к вопросу о пропорциональном количестве голосов, достаточном для объявления данной воли волей общей, я также указал принципы, по которым можно определить это количество. Разница в одном голосе нарушает равенство; один противник нарушает единогласие, но между единогласием и равенством есть еще много неравных делений, и каждое из них можно принять за норму сообразно с состоянием и нуждами политического организма.

Два общих правила могут служить для регулирования этих отношений: первое, что чем более важны и серьезны решения, тем более мнение побеждающее должно приближаться к единогласию; второе, что чем более возбужденный вопрос нуждается в скором решении, тем важнее сузить устанавливаемую разницу при разделении мнений: при решениях, которые должны быть приняты немедленно, перевес одного голоса должен быть достаточен. Первое из этих правил кажется более применимым по отношению к законам, а второе — по отношению к частным делам. Как бы там ни было, на основании комбинации указанных правил устанавливается лучшее отношение, которое можно дать большинству, для того чтобы оно могло решать.

ГЛАВА III

О ВЫБОРАХ

По отношению к выборам государя и должностных лиц, являющимся, как я уже сказал, актами сложными, существует

два способа, а именно: выборы и жребий. И тот и другой применялись в различных республиках, и теперь еще существует очень сложное смешение обеих систем в выборе венецианского дожа.

«Выборы путем жребия,— говорит Монтескье, — свойственны демократии». Я согласен, но как? «Жребий,— продолжает он,— есть способ избрания, никого не оскорбляющий; он дает каждому гражданину основательную надежду послужить отечеству». Это не доводы.

Если обратить внимание на то, что избрание начальников есть функция правительства, а не суверенитета, то понятно, почему избрание жребием более соответствует природе демократии, в которой администрация тем лучше, чем акты ее менее сложны.

В настоящей демократии должности — не преимущество, а тяжелая повинность, которую по справедливости нельзя наложить на одного в большей степени, чем на другого. Один только закон может возложить эту повинность на того, на кого упадет жребий; а так как тогда условия равны для всех и выбор не зависит ни от чьей человеческой воли, то и нет частичного отступления, которое нарушало бы всеобщность закона.

При аристократическом образе правления государь избирает государя; правительство сохраняется само собой, и выборы здесь уместны.

Пример выборов венецианского дожа подтверждает, а вовсе не разрушает это различие: эта смешанная форма пригодна для смешанного правительства, потому что ошибочно считать венецианское правительство истинной аристократией. Если народ не принимает там никакого участия в правительстве, то знать и представляет там собой народ. Толпа бедных Барнаботов никогда не получала никаких должностей, и вся ее знатность дает ей только пустой титул превосходительства и право присутствовать в большом совете. Так как этот большой совет так же многочислен, как наш генеральный совет в Женеве, то его знатные члены имеют не больше привилегий, чем наши простые граждане. Верно и то, что если оставить в стороне крайние различия обеих республик, то женевская буржуазия представляет точную копию венецианского патрициата. Наши местные уроженцы и жители напоминают горожан и народ в Венеции; наши крестьяне напоминают континентальных подданных Венеции; с какой бы стороны мы ни рассматривали эту республику (оставив в стороне ее величину), правительство ее не более аристократи-

ческое, чем наше. Все различие заключается в том, что при отсутствии пожизненного главы государства нам не нужно метать жребий.

Выборы путем жребия представляли бы мало неудобств в настоящей демократии, в которой при всеобщем равенстве как в правах, так и в талантах, как по принципам, так и по богатству выбор стал бы почти безразличен. Но я уже сказал, что истинной демократии не существует.

В тех случаях когда прибегают и к выборам и к жребию, путем первых следует заполнить места, требующие особых талантов, каковы военные должности, а путем второго — те места, где достаточны здравый смысл, справедливость, честность, каковы должности судейские, потому что в хорошо устроенном государстве все эти качества свойственны всем гражданам.

Ни метание жребия, ни выборы не применяются при монархическом правительстве. Так как монарх является по праву единственным главою государства и должностным лицом, то выбор помощников принадлежит только ему. Когда аббат де-Сен-Пьер предложил пополнить советы французского короля и выбирать членов их посредством голосования, то он не заметил того, что предлагает изменить форму правительства.

Мне остается сказать несколько слов о способе подачи и подсчета голосов в народном собрании; но, быть может, история римского управления выяснит в этом отношении все правила гораздо яснее, чем я их сумею установить. Внимательному читателю будет уместно посмотреть немного подробнее, каким образом решались общественные и частные дела в совете, состоявшем из двухсот тысяч человек.

ГЛАВА IV

О РИМСКИХ КОМИЦИЯХ

У нас не осталось никаких достоверных памятников о первых временах Рима. Есть даже большое вероятие, что большинство историй, которые рассказывают о них,—басни *. И в общем наиболее поучительная часть народных летописей — история возникновения народов — есть именно та часть, которой у нас больше всего нехватает. Ежедневный опыт

* Имя Рим (Roma), которое, как говорят, происходит от слова Ромул, есть слово греческое и означает силу. Имя Нума— тоже греческое и означает закон. Можно ли поверить, что оба первых царя этого города уже заранее носили имена, так хорошо обозначающие то, что они сделали?

показывает нам, по каким причинам возникают революции в империях; но так как народов больше не образуется, то нам остается лишь строить догадки, чтобы объяснить, как они сформировались.

Обычаи, которые мы находим уже установившимися, свидетельствуют, по крайней мере, о том, что эти обычаи откуда-то произошли. Из традиций, которые восходят до времен этого происхождения, те, которые поддерживаются наибольшими авторитетами и которые подкрепляются наиболее сильными соображениями, должны считаться и наиболее достоверными. Вот те правила, которыми я пытался руководиться в своих изысканиях о том, каким образом наиболее свободный и наиболее могущественный народ в мире отправлял свою верховную власть.

После основания Рима зарождающаяся республика, т. е. армия основателя, составленная из албанцев, сабинцев и иностранцев, была разделена на три класса, которые на основании этого деления были названы *трибами*. Каждая из этих триб была подразделена на десять курий, а каждая курия — на декурии, а во главе их были поставлены начальники, называвшиеся *курионами* и *декурионами*.

Кроме того, из каждой трибы был составлен корпус в сто всадников, или рыцарей, называвшийся центурией; откуда видно, что эти деления, мало нужные для города, были вначале только военными делениями. Но кажется, что инстинкт величия толкал маленький город Рим уже заранее к гражданскому устройству, достойному мировой столицы.

Из этого первого деления возникло скоро затруднение: дело в том, что так как триба албанцев* и триба сабинцев** оставались в одном и том же положении, а триба иностранцев*** беспрестанно возрастала благодаря постоянному наплыву последних, то эта последняя не замедлила превзойти первые две. Реформа, которую Сервий применил для устранения этого опасного осложнения, состояла в изменении деления и в замене уничтоженного им деления на расы другим — по местам города, занятым каждой трибой. Вместо трех триб он учредил четыре. Каждая из них занимала один из римских холмов и носила его имя. Таким образом, устраняя существовавшее неравенство, он предупредил его и на будущее время, а чтобы это деление было делением не только

---

* Ramnenses.
** Tatienses.
*** Luceres.

мест, но и людей, он запретил жителям одного квартала переселяться в другой, а это помешало слиянию рас.

Он удвоил также три старые центурии всадников и прибавил к ним еще двенадцать, но все-таки сохранив за ними старые имена,— средство простое и справедливое, благодаря которому он закончил отделение сословия всадников от народа, не возбуждая в последнем ропота. К этим четырем городским трибам Сервий прибавил пятнадцать других, названных им трибами деревенскими, потому что они были образованы из деревенских жителей, разделенных на такое же количество кантонов. В последующее время учредили столько же новых триб; так что в конце концов римский народ оказался разделенным на тридцать пять триб — число, которое осталось неизменным до конца республики.

Это различие городских триб и триб деревенских оказало известное влияние, которое необходимо отметить, потому что другого такого примера нет и потому что этому факту Рим обязан был сохранением своих нравов и ростом своей империи. Можно было бы думать, что городские трибы присвоят себе очень скоро силу и почести и не замедлят унизить деревенские трибы, но оказалось наоборот. Известна склонность первых римлян к деревенской жизни. Эту склонность внушил им мудрый реформатор, который соединил свободу с военными и земледельческими трудами и предоставил, так сказать, городу искусство, ремесла, интриги, богатство и рабство.

И так как все, что в Риме было выдающегося, жило в деревне и занималось земледелием, то привыкли искать только там опору республики. Этот образ жизни, которому следовали наиболее достойные патриции, был почитаем всеми. Простая и трудолюбивая жизнь сельчан предпочиталась бездельной и развратной жизни римских горожан; и тот, кто был бы в городе только несчастным пролетарием, будучи в деревне земледельцем, становился уважаемым гражданином. Не без основания, говорит Варрон, наши великодушные предки устроили из деревни питомник тех сильных и могучих людей, которые защищали их в военное время и кормили их во время мира. Плиний положительно указывает, что деревенские трибы пользовались почетом благодаря людям, входившим в их состав, тогда как в городские трибы переводили из презрения тех, кого хотели унизить. Сабинец Аппий Клавдий, явившись в Рим, чтобы там поселиться, был осыпан почестями и записан в деревенскую трибу, которая впоследствии приняла имя его семьи. Наконец, все вольно-

отпущенники вступали в городские трибы и никогда — в сельские; и в течение всего времени существования республики не было ни одного примера, чтобы кто-нибудь из этих вольноотпущенников добился какой-нибудь должности, хотя бы он и стал гражданином.

Это правило было превосходно, но оно проводилось так строго, что произошли, наконец, изменение и, конечно, злоупотребление в управлении.

Во-первых, цензоры, издавна присвоивши себе право произвольно переписывать граждан из одной трибы в другую, позволяли большей части граждан записываться в ту трибу, в какую им было угодно. Позволение это ни к чему хорошему не привело и отняло у цензуры одно из самых могучих ее средств. Кроме того, так как сильные и богатые люди все вписывались в деревенские трибы, а ставшие гражданами вольноотпущенники оставались вместе с чернью в городских трибах, то трибы в общем не имели ни определенного места, ни определенной территории, но все до того смешались, что членов каждой из них можно было отличить только по спискам, так что идея слова «триба» перешла из области отношений реальных в область отношений личных или, скорее, стала почти химерой.

Произошло еще и то, что городские трибы, будучи ближе к государственным делам, часто оказывались и сильнее в комициях и продавали государство тем, кто хотел покупать голоса мошенников, составлявших эти трибы.

Что касается курий, то, так как учредитель их установил десять курий в каждой трибе, весь римский народ, заключавшийся тогда в стенах города, оказался разделенным на тридцать курий, из которых каждая имела свои храмы, своих богов, своих начальников, своих жрецов и свои праздники, называвшиеся compitalia, похожие на те праздники, которые впоследствии происходили в деревенских трибах (paganalia).

Так как при новом разделении Сервия это число тридцать не могло разделиться на равные части, на четыре трибы, то он и не захотел трогать этого деления, и независимые от триб курии стали другим делением римских обитателей; но о куриях не возникало вопроса ни в среде деревенских триб, ни в среде входившего в их состав народа, потому что раз трибы стали учреждением чисто гражданским, а для наборов войск было введено особое управление, то военные деления Ромула оказались излишними. Таким образом, хотя каждый гражданин и был записан в трибу, этого все-таки было недостаточно, чтобы каждый состоял и в курии.

Сервий произвел еще третье деление, которое не имело никакого отношения к двум предшествующим, но по своим результатам оказалось наиболее важным. Он разделил весь римский народ на шесть классов, между которыми он не сделал различия ни по месту жительства, ни по происхождению, но по имуществу: два первых класса состояли из богатых, последние — из бедных, а средние — из тех, кто обладал средним состоянием. Эти шесть классов были разделены, в свою очередь, на сто девяносто три группы, называвшиеся центуриями, а группы эти были так распределены, что первый класс составлял больше половины их, а последний образовал только одну центурию. Таким образом, оказалось, что класс, наименее многочисленный по входящему в него количеству людей, составлял наибольшее число центурий, а весь последний класс считался только за одно подразделение, хотя он один составлял более половины жителей Рима. Дабы народу труднее было разобраться в последствиях этой реформы, Сервий постарался придать ей военный вид. Он вписал во второй класс две центурии оружейных мастеров, а в четвертый класс две центурии мастеров военных сооружений. В каждом классе, за исключением последнего, он разделил молодых и старых, т. е. тех, которые были обязаны отбывать воинскую повинность, и тех, которые, согласно закону, по возрасту освобождались от этой повинности. Это различие гораздо более, чем различие по имуществу, вызвало необходимость частого возобновления ценза, или переписи. Наконец, он постановил, что народное собрание должно происходить на Марсовом поле, и чтобы те, которые по возрасту должны были служить в армии, являлись на собрания вооруженными.

Причина, по которой он и в последнем классе не провел деления на молодых и старых, заключалась в том, что черни, из которой этот класс был составлен, не предоставлялось чести носить оружие для защиты отечества. Необходимо было иметь очаг, для того чтобы получить право защищать его, и из среды многочисленных толп бродяг, которыми блещут современные королевские армии, не нашлось бы, вероятно, ни одного солдата, который не был бы с презрением исключен из римской когорты: солдаты были тогда защитниками свободы.

Впрочем, в последнем классе отличали тем не менее пролетариев от тех, кого называли capite censi. Первые, не совсем низведенные до нуля, доставляли, по крайней мере, государству граждан, а иногда даже, в случаях крайней необ-

ходимости, и солдат. Что же касается тех, которые ничем не владели и которых можно было считать только поголовно, то их значение было низведено до нуля, и Марий первый осмелился вербовать их в войска. Не решая здесь вопроса о том, была ли эта третья перепись хороша или дурна сама по себе, я могу все-таки, как мне кажется, утверждать, что только простые нравы первых римлян, их бескорыстие, их склонность к земледелию, их презрение к торговле и к погоне за барышами могли сделать ее применимой на практике. Где тот современный народ, у которого ужасающая жадность, беспокойный дух, интриги, постоянные перемещения, вечные колебания в имущественном положении могли бы дать возможность существовать подобному установлению в течение двадцати лет, без того чтобы все государство не было приведено в смятение? Надо, кроме того, отметить и то, что нравы и цензура более сильные, чем вышеописанный институт, исправили его недостатки в Риме и что какой-нибудь богач мог очутиться в классе бедных за то, что он слишком выставлял напоказ свое богатство.

Из всего этого легко понять, почему всегда упоминается только о пяти классах, тогда как в действительности их было шесть. Так как шестой класс не доставлял солдат в армию, не голосовал на Марсовом поле* и почти не находил себе применения в республике, то он редко и принимался в расчет.

Таковы были различные подразделения римского народа. Посмотрим теперь, какой результат давали они в народных собраниях. Эти собрания, законно созванные, назывались комициями; они происходили на Римской площади или на Марсовом поле и разделялись на комиции по куриям, по центуриям и по трибам в зависимости от одной из тех трех форм, по которой они созывались. Комиции куриатские были учреждены Ромулом; комиции по центуриям — Сервием, и комиции по трибам — народными трибунами. Ни один закон не мог быть санкционирован, ни один чиновник — избран иначе как в комициях; и так как не было ни одного гражданина, который не был бы записан в курию, или в центурию, или в трибу, то отсюда следовало, что ни один гражданин не был лишен права голоса и что римский народ был действительно сувереном и по праву и в действительности.

* Я говорю на Марсовом поле, потому что в этом именно месте собирались центуриатские комиции; в двух других формах народ собирался на форуме или в другом месте, и тогда capite censi имели столько же влияния и авторитета, сколько и первые граждане.

Для того чтобы комиции были законно собраны и для того чтобы то, что там делалось, имело силу закона, необходимы были три условия: во-первых, чтобы учреждение или чиновник, созывающий их, был облечен необходимой для этого властью; во-вторых, чтобы собрание состоялось в один из дней, определенных законом для таких собраний, и, в-третьих, чтобы предсказания были благоприятны.

Основание первого правила не нуждается в объяснении; второе есть вопрос порядка; так, не позволялось устраивать комиции в праздничные и базарные дни, когда крестьяне, являясь в Рим для устройства своих дел, не могли провести весь день на общественной площади; посредством третьего правила сенат держал в узде гордый и подвижный народ и умерял во-время горячность пылких трибунов; но последние нашли очень много средств, чтобы освободиться от этой помехи.

Издание законов и выборы начальников были не единственными делами, подлежавшими суждению комиций. Так как римский народ захватил в свои руки самые важные правительственные функции, то можно сказать, что на этих собраниях решалась судьба Европы. Это различие в предметах обсуждения вызвало и появление различных форм, которые принимали эти собрания, сообразно с вопросами, относительно которых им следовало высказаться.

Чтобы судить об этих различных формах, достаточно их сравнить. Учреждая курии, Ромул имел в виду сдерживать сенат посредством народа и народ посредством сената, господствуя одинаково над обоими. Посредством этой формы он предоставил народу весь авторитет количества, чтобы уравновесить авторитет могущества и богатства, предоставленный патрициям. Но, следуя духу монархии, он предоставил все-таки более преимуществ патрициям путем влияния их клиентов на многочисленность голосов. Это удивительное учреждение патронов и клиентов было шедевром политики и человечности, без которого патрициат, столь противный республиканскому духу, не мог бы существовать. Рим один только имел честь дать миру прекрасный пример, который никогда не порождал злоупотреблений и которому, однако, никогда не следовали.

Так как та же форма курий существовала при царях до Сервия и так как царство последнего Тарквиния не считалось законным, то за царскими законами вообще сохранилось имя leges curiatae (куриатских законов).

При республике курии, оставаясь ограниченными только

четырьмя городскими трибами и включая в свой состав только римскую чернь, не могли нравиться ни сенату, который стоял во главе патрициев, ни трибунам, которые хотя и были плебеями, но стояли во главе состоятельных граждан. Они потеряли все свое значение; их падение было так велико, что тридцать ликторов, собранные со всех курий, решали то, что должны были решать комиции по куриям.

Деление по центуриям было так выгодно аристократии, что сначала трудно понять, как сенат не побеждал всегда в комициях по центуриям, которые избирали консулов, цензоров и других курульных чиновников. В самом деле, из ста девяносто трех центурий, образовавших шесть классов всего римского народа, один первый класс образовал девяносто восемь центурий, а так как голоса считались только по центуриям, то один первый класс имел в своем распоряжении большее число голосов, чем все остальные. Когда все эти центурии приходили к соглашению, то прекращали даже дальше собирать голоса, и то, что решало незначительное число, выдавалось за решение массы; и можно сказать, что в комициях по центуриям дела решались скорее по большинству денег, чем по большинству голосов.

Но эта чрезмерная власть умерялась двумя средствами. Во-первых, так как трибуны обычно и большое число плебеев всегда было в классе богатых, то они уравновешивали влияние патрициев в этом первом классе.

Второе средство заключалось в том, что, вместо того чтобы центурии голосовали с самого начала по порядку, что заставило бы постоянно начинать с первой, назначали центурию по жребию, и избранная таким образом центурия одна только* производила выборы, после чего все центурии, созванные на другой день по их рангу, повторяли то же избрание и обыкновенно подтверждали его. Таким образом, отнимали авторитет примера у ранга, чтобы передать авторитет этот жребию, согласно принципам демократии. Из этого обычая вытекало и еще одно преимущество, а именно: у граждан, живших в деревнях, было время между двумя выборами осведомиться о заслугах предварительно выставленного кандидата и таким образом голосовать сознательно. Но под предлогом ускорения в конце концов отменили этот обычай, и оба избрания производились в один и тот же день.

Комиции по трибам были собственно советом римского

* Эта центурия, указанная таким образом жребием, называлась прерогативной, потому что она первая подавала голос, и отсюда-то произошло слово *прерогатива*.

народа; они созывались только трибунами, здесь избирались трибуны, и здесь же трибуны проводили свои плебисциты. Не только сенат не занимал в них особого положения, но он не имел права даже присутствовать на них, и сенаторы, обязанные повиноваться законам, которых они не имели возможности даже голосовать, были в этом отношении менее свободными, чем последние граждане. Эта несправедливость совершенно не сознавалась, и ее одной было достаточно, чтобы признать недействительными декреты учреждения, в которое не все члены имели доступ. Если бы все патриции присутствовали на этих комициях, пользуясь правом, которым они обладали как граждане, ставшие, таким образом, обыкновенными частными лицами, то они не оказали бы никакого влияния на форму голосования, которое производилось поголовно и при котором самый незначительный пролетарий имел такое же значение, как первый сенатор.

Мы видим, таким образом, что, кроме порядка в смысле собирания голосов, явившегося результатом различных подразделений столь многочисленного народа, эти подразделения не сводились к формам самим по себе безразличным, но каждая из них давала результаты, соответственные тем видам, из-за которых она предпочиталась. Не входя по этому вопросу в дальнейшие детали, из предыдущих указаний ясно все-таки, что комиции по трибам были более благоприятны для народного правительства, а комиции по центуриям — для аристократии. Что касается комиций по куриям, в которых большинство образовала одна римская чернь, то, так как они годились только для содействия тирании и для преступных намерений, они должны были потерять свое значение, потому что даже бунтовщики воздерживались от средства, которое слишком открывало бы их проекты. Нет сомнения, что все величие римского народа воплощалось только в комициях по центуриям, которые одни только включали весь народ, тогда как в комиции по куриям не входили деревенские трибы, а в комиции по трибам — сенат и патриции.

Что касается способа собирания голосов, то у первых римлян он был так же прост, как их нравы, хотя и менее прост, чем в Спарте. Каждый подавал свой голос громко, а писец постепенно записывал голоса; большинство голосов в каждой трибе определяло голосование трибы; большинство голосов триб определяло голосование народа; точно так же происходило и в куриях и в центуриях. Этот обычай был хорош только до тех пор, пока среди граждан царила честность и пока каждый стыдился подавать публично

свой голос за несправедливое предложение или за недостойного человека. Но когда народ развратился и голоса начали покупаться, то более удобной стала тайная подача голосов, чтобы сдерживать покупателей путем недоверия и дать возможность плутам не быть изменниками.

Я знаю, что Цицерон порицает эту перемену и частью приписывает ей гибель республики. Но хотя я и понимаю все значение, которое должен иметь в данном случае авторитет Цицерона, я не могу согласиться с ним; я, напротив, думаю, что гибель государства ускорилась потому, что не было произведено достаточно подобных изменений. Так как режим здоровых людей не годится для больных, то не нужно хотеть править развращенным народом посредством тех же законов, которые хороши для народа добродетельного. Ничто не доказывает лучше этого правила, как длительность Венецианской республики, подобие которой существует и теперь единственно потому, что ее законы годятся только для порочных людей.

Итак, гражданам раздавали дощечки, посредством которых каждый мог голосовать так, чтобы нельзя было знать, каково его мнение. Были установлены также новые формальности для сбора дощечек, для счета голосов, для сравнения чисел и т. д. Это не помешало, однако, тому, чтобы добросовестность чиновников, отправлявших эти функции*, не подвергалась часто сомнению. Наконец, для того чтобы помешать плутням и продаже голосов, были изданы особые эдикты, масса которых доказывает их бесполезность.

В последние времена республики часто бывали вынуждены прибегать к чрезвычайным средствам, для того чтобы восполнить недостатки законов. То предполагали чудеса, но это средство, которое могло иметь влияние на народ, не имело влияния на тех, которые управляли им; то собрание созывалось внезапно, пока кандидаты не успевали еще обделать свои плутни; то целое заседание посвящалось разговорам, когда по всем признакам народ готов был принять дурное решение. Но честолюбие в конце концов умело устранить все препятствия, и представляется невероятным, как среди такого множества злоупотреблений этот огромный народ, уважая свои древние законы, не переставал выбирать чиновников, издавать законы, судить преступления, решать дела частные и общественные почти с такой же легкостью, как это мог делать сам сенат.

---

* Custodes, diribitores, rogatores suffragiorum.

ГЛАВА V

О ТРИБУНАТЕ

Когда нельзя установить точной пропорции между составными частями государства или когда неустранимые причины изменяют беспрестанно отношения частей в государстве, тогда учреждается особенная магистратура, которая не находится ни в какой связи с другими, но которая перемещает всякий член пропорции на его настоящее место и образует связь, или средний член пропорции,— или между государем и народом, или между государем и сувереном, или, если это необходимо, между теми и другими.

Это учреждение, которое я назову трибунатом, является охранителем законов и законодательной власти. Иногда оно служит для охраны суверена против правительства, как это делали в Риме народные трибуны, иногда он служит для поддержания правительства против народа, как это делает теперь в Венеции совет десяти, а иногда для того, чтобы поддержать равновесие и с той и с другой стороны, как это делали эфоры в Спарте.

Трибунат не есть составная часть гражданской общины, и он не должен принимать никакого участия ни в исполнительной, ни в законодательной власти; но именно поэтому его власть обширнее обеих вышеупомянутых, ибо, не будучи в состоянии ничего сделать, трибунат может всему помешать. Будучи защитником законов, он — власть более священная и более почитаемая, чем государь, который их выполняет, и чем суверен, который их издает. Это ясно было видно в Риме, когда гордые патриции, презиравшие постоянно весь народ, были принуждены склоняться перед простым народным чиновником, который не обладал ни юрисдикцией, ни правом гаданий.

Трибунат, разумно умеренный, является наиболее прочной опорой хорошего государственного управления; но, усиливаясь хотя бы в незначительной степени более, чем следует, он опрокидывает все. Что же касается слабости, то она не в его природе, и если он имеет хоть какое-нибудь значение, то это значение никогда не меньше должного.

Трибунат вырождается в тиранию, когда он узурпирует исполнительную власть, которую он должен только умерять, и когда он стремится отменять законы, которые он должен только охранять. Огромная власть эфоров, бывшая безопасной, пока Спарта сохраняла свои нравы, ускорила начав-

шееся развращение ее. Агис, убитый этими тиранами, был отомщен своим преемником. Преступление и наказание эфоров в одинаковой степени ускорили гибель республики, и после Клеомена Спарта потеряла все свое значение. Рим погиб точно таким же образом, и чрезвычайная власть трибунов, постепенно узурпируемая, послужила, наконец, при помощи законов, созданных для охраны свободы, орудием безопасности для императоров, которые разрушали свободу. Что касается венецианского совета десяти, это — кровавый трибунал, одинаково ужасный как для патрициев, так и для народа, который, вместо того чтобы твердо охранять законы, служит после уничтожения их лишь к тому, чтобы наносить в темноте те удары, которых не осмеливаются даже замечать.

Трибунат ослабляется, как и правительство, если количество его членов увеличивается. Когда трибуны римского народа, бывшие сначала в числе двух, затем пяти, вознамерились удвоить это число, то сенат не поставил им никаких препятствий, так как он был уверен, что сможет удержать одних посредством других. Так оно, конечно, и произошло.

Лучшее средство для предупреждения узурпации столь могущественного учреждения — средство, которым никакое правительство до сих пор еще не пользовалось, было бы не делать этого учреждения постоянным, но регулировать промежутки, во время которых оно прекращало бы свое существование. Эти промежутки, которые не должны были бы быть особенно большими, дабы не дать времени укрепиться злоупотреблениям, могут быть определены законом так, чтобы было легко сократить их в случае необходимости посредством комиссий. Это средство не представляет, как мне кажется, неудобства, потому что, как я сказал, трибунат, не входя составной частью в конституцию, может быть отменен, не внося расстройства в нее; средство это мне кажется действительным потому, что вновь восстановленные чиновники не берут отправным пунктом своей деятельности власть, которую имели их предшественники, но ту, которую дает им закон.

ГЛАВА VI

О ДИКТАТУРЕ

Отсутствие в законах гибкости, которое мешает им приспособляться к событиям, может в известных случаях делать их гибельными и привести государство к крушению

во времена кризисов. Порядок и медленность форм требуют известного промежутка времени, а события иногда не терпят отлагательств. Могут представиться тысячи случаев, которых законодатель совершенно не предвидел, и крайне необходима такая предусмотрительность, которая сознает, что всего предвидеть нельзя.

Не следует поэтому стремиться к укреплению политических учреждений до такой степени, чтобы отнимать возможность временного прекращения их действия. Даже Спарта пренебрегала иногда своими законами. Но только большие опасности могут уравновесить опасность, проистекающую от изменения общественного порядка, а священную власть законов следует останавливать только в том случае, когда дело идет о спасении отечества. В этих редких и ясно определенных случаях охрана общественной безопасности вручается особым актом наиболее достойному. Это поручение может быть дано двумя способами в зависимости от рода опасности.

Если, для того чтобы устранить опасность, достаточно увеличить деятельность правительства, то все отрасли управления концентрируются в руках одного или двух членов его, и таким образом приостанавливается не действие законов, а изменяется только форма управления на основании этих законов. Но если опасность столь велика, что аппарат законов является препятствием для ее устранения, тогда назначается верховный начальник, который заставляет умолкнуть все законы и устраняет на время верховную власть. В подобных случаях общая воля несомненна, так как очевидно, что главное стремление народа заключается в том, чтобы государство не погибло. Таким образом, временная приостановка законодательной власти не отменяет ее; должностное лицо, которое заставляет ее умолкнуть, не может заставить ее говорить; оно господствует над ней, но оно лишено возможности быть ее представителем. Оно может сделать все, за исключением законов.

Первое средство применялось римским сенатом, когда он наделял консулов особой властью посредством специальной формулы, гласившей, чтобы консулы заботились о спасении республики; второй способ применялся, когда один из двух консулов назначал диктатора* — обычай, заимствованный Римом от Альбы.

В первые времена республики к диктатуре прибегали

* Это назначение делалось ночью и тайно, как будто стыдились поставить человека выше законов.

очень часто, потому что государство не обладало еще достаточно прочным устройством, чтобы быть в состоянии держаться одной силой своей конституции. Так как нравы того времени делали излишними целый ряд предосторожностей, которые были бы необходимы в другое время, то не боялись ни того, что диктатор злоупотребит своей властью, ни что он попытается сохранить ее дольше означенного срока. Казалось, напротив, что такая огромная власть была тягостна для облеченного ею, настолько он спешил отделаться от нее, как будто бы заменять законы было постом слишком трудным и слишком опасным.

Поэтому не опасность злоупотреблений, но опасность упадка побуждает меня порицать частые применения этой высшей магистратуры в первые времена. Можно было опасаться, что, часто назначая диктаторов и для выборов, и для празднеств, и для выполнения голых формальностей, можно было опасаться, что эта мера станет менее грозной в случае необходимости и что общество привыкнет смотреть, как на пустой титул, на то назначение, которое применялось только для пустых церемоний.

К концу республики римляне, став более подозрительными, применяли диктатуру столь же скудно, как раньше злоупотребляли ею. Приятно было убедиться, что боязнь их была мало обоснована, что слабость столицы являлась гарантией безопасности ее против посягательств магистратов, пребывавших в ней, что в известных случаях диктатор мог защитить общественную свободу, не будучи никогда в состоянии посягнуть на нее, и что оковы для Рима оказались выкованными не в самом Риме, а в среде его армий.

Незначительное сопротивление, оказанное Марием Сулле и Помпеем Цезарю, ясно показало, чего можно ожидать от внутренней власти в борьбе с внешней силой.

Эта ошибка заставила римский народ сделать несколько крупных промахов; таким промахом было, например, нежелание назначить диктатора во время дела Катилины, так как в данном случае вопрос шел только о самом Риме и самое большее о какой-нибудь итальянской провинции, так что при той безграничной власти, какую законы предоставляли диктатору, он легко раскрыл бы заговор, подавленный только благодаря стечению счастливых обстоятельств, на что человеческая мудрость никогда не должна рассчитывать. Вместо этого сенат удовольствовался тем, что передал всю свою власть консулам, а от этого получилось то, что Цицерон, чтобы действовать с успехом, принужден был превы-

сить предоставленную ему власть в одном из существенных пунктов, и если первые взрывы радости привели к одобрению его поведения, то вполне справедливо было то, что впоследствии потребовали у него объяснения за пролитую им вопреки законам кровь граждан,— упрек, которого нельзя было бы сделать диктатору. Но красноречие консула увлекло всех, и так как сам он, хотя и римлянин, любил славу больше своего отечества, то и стремился не столько к тому, чтобы отыскать наиболее верное средство для спасения отечества, сколько к тому, чтобы присвоить себе честь всего этого дела*. Поэтому он по справедливости был почтен, как освободитель Рима, и по справедливости же был наказан, как нарушитель закона. Каким бы блестящим ни было восстановление его в правах, несомненно, что это было помилование.

Впрочем, каким бы образом это важное поручение ни давалось, необходимо ограничить его продолжительность небольшим сроком, который ни в коем случае не мог бы быть продолжен. Во время кризисов, которые приводят к установлению диктатуры, государство или быстро разрушается или спасается; а раз настоятельная необходимость прошла, то диктатура становится или тиранической, или ненужной. В Риме диктаторы назначались только на шесть месяцев, и большая часть отказывалась от должности еще до окончания этого срока. Если бы срок был более продолжителен, то они, может быть, и попытались бы продолжить его еще дольше, как это сделали децемвиры, попытавшись продолжить свои годичные полномочия. Диктатор имел только время, чтобы выполнить те обязанности, для исполнения которых он был выбран; но у него не было времени, чтобы думать о других предприятиях.

ГЛАВА VII

О ЦЕНЗУРЕ

Подобно тому как изъявление общей воли происходит путем закона, так изъявление общественного приговора производится посредством цензуры. Общественное мнение есть своего рода закон, исполнителем которого служит цензор, применяющий, подобно государю, закон к частным случаям.

* В этом-то он и не мог быть уверен, если бы он предложил диктатора, так как назначить самого себя он не осмелился бы, а быть уверенным в том, что его назначит его коллега, он тоже не мог.

Цензорский трибунал далеко не является, таким образом, судьей общественного мнения; он только глашатай этого мнения, и лишь только он отклоняется в сторону, как решения его становятся пустыми и остаются без последствий.

Бесполезно проводить различие между нравами народа и предметами его почитания, потому что все это связано одним и тем же принципом и по необходимости сливается. У всех народов мира выбор удовольствий определяет не природа, а мнение. Поднимите мнения людей, и нравы их очистятся сами по себе. Люди всегда любят то, что прекрасно или что они находят таковым; но именно в этом суждении ошибаются, а поэтому вопрос сводится к тому, чтобы направить это суждение. Кто судит о нравах — судит о чести, а кто судит о чести, тот черпает закон из мнения.

Мнения народа возникают из его конституции. Хотя закон и не регулирует нравов, но возникают они благодаря законодательству. Когда законодательство ослабляется, нравы вырождаются; но тогда приговор цензоров не произведет того действия, которое не могла произвести сила законов.

Отсюда вытекает, что цензура может быть полезной для сохранения нравов, но не имеет никакого значения для их восстановления. Назначайте цензоров, пока законы имеют силу; как только они ее потеряли, все окажется безнадежным. Ничто, основанное на законе, не будет иметь силы, когда этой силы не имеют сами законы.

Цензура поддерживает нравы, мешая мнениям развращаться, сохраняя правильность их мудрыми действиями, иногда даже установляя эти мнения, когда они еще не определились. Обычай иметь заместителей в дуэлях, доведенный до безумия во французском королевстве, был отменен следующими только словами одного из королевских эдиктов: «Что касается тех, которые так трусливы, что приглашают заместителей...» Это суждение, предупреждая суждение общества, определило сразу направление его; но когда те же эдикты хотели постановить, что такой же трусостью является сама дуэль, что совершенно верно, но что противно общепринятому мнению, то общество начало только издеваться над решением вопроса, по которому суждение общества было уже сделано.

В другом месте я сказал*, что, так как общественное

* В этой главе я только намечаю то, что я более подробно рассмотрел в письме к г. Д'Аламберу.

мнение не может быть принуждаемо к чему-нибудь, то для трибунала, учрежденного для того, чтобы представлять общественное мнение, не нужно было никакого принуждения. Нельзя выразить достаточного изумления перед тем, с каким искусством этот стимул, совершенно утраченный у современных народов, пускался в ход римлянами, а еще лучше лакедемонянами.

Когда человек безнравственный высказывал мудрые замечания в спартанском совете, то эфоры, не обращая как будто внимания на говорящего, заставляли гражданина добродетельного высказать то же мнение. Какая честь для одного, какое предостережение для другого, хотя ни тот, ни другой не получали ни похвалы, ни порицания! Какие-то пьяницы с Самоса загрязнили трибунал эфоров. На другой день публичным эдиктом самосцам разрешено было быть грубиянами. Настоящее наказание было бы менее суровым, чем подобная безнаказанность. Когда Спарта высказывала свое суждение относительно того, что честно и что бесчестно, то Греция не протестовала.

ГЛАВА VIII

О ГРАЖДАНСКОЙ РЕЛИГИИ

У людей с самого начала не было других царей, кроме богов, ни другого правительства, кроме теократического; они рассуждали, как Калигула, и рассуждали тогда правильно. Нужны продолжительные изменения в чувствах и идеях, чтобы можно было решиться принять подобное себе существо за господина и думать при этом, что так будет хорошо.

Следствием одного только того, что бога ставили во главе каждого политического общества, оказалось столько же богов, сколько было народов. Два чуждых друг другу народа, находившихся почти всегда во враждебных отношениях, не могли долго признавать одного и того же повелителя; две армии, сражающиеся между собою, не могли бы повиноваться одному и тому же начальнику. Таким образом, результатом национальных подразделений явился политеизм, а отсюда уже произошла теологическая и гражданская нетерпимость, что в сущности одно и то же, как будет показано ниже.

То, что грекам пришла фантазия найти своих богов у варварских народов, произошло от того, что они смотрели на себя как на природных владык этих народов. Но в наше

время смешной должна показаться эрудиция, которая все время вертится на тождестве богов различных наций; как будто Молох, Сатурн и Хронос могли быть одним и тем же божеством; как будто Ваал финикийцев, Зевс греков, Юпитер латинян могли быть одним и тем же; как будто могло остаться что-нибудь общее у химерических существ, носящих различные имена.

Если меня спросят, каким образом во времена язычества, когда каждое государство имело свой культ и своих богов, не было религиозных войн, то я отвечу, что это произошло именно потому, что каждое государство, имея собственный культ, так же как и собственное правительство, не отличало своих богов от своих законов. Политическая война была также и войной теологической. Сферы влияния богов были, так сказать, определены границами наций; бог одного народа не имел никакого права над другими народами; боги язычников не были ревнивыми богами; они разделили между собой владычество над миром. Даже Моисей и еврейский народ иногда поддавались этой идее, говоря о боге Израиля. Они считали, конечно, ничтожными богов ханаанцев, народов проклятых, обреченных на гибель, место которых они должны были занять; но посмотрите, как они говорят о божествах соседних народов, на которых им запрещено было нападать. «Разве владение тем, что принадлежит Хамосу, вашему богу,— говорил Иеффай аммонитянам,— не есть ваше законное владение? Мы владеем по тому же праву теми землями, которые отвоевал для себя наш бог-победитель» *. В данном случае, как мне кажется, было ясно признанное равенство между правами Хамоса и правами бога Израиля.

Но когда евреи, подчиненные царям вавилонским, а впоследствии сирийским, упорно не захотели признавать никакого бога, кроме своего собственного, то этот отказ, принятый за бунт против победителя, навлек на них преследования, о которых можно прочитать в истории и подобных которым не было до христианства **. Так как каждая религия неразрывно

---

* «Nonne ea quae possidet Chamos, deus tuus, tibi jure debentur?» Таков текст вульгаты. Де-Карриер перевел: «Не имеете ли вы права владеть тем, что принадлежит Хамосу, вашему богу?» Мне неизвестен еврейский текст, но я вижу, что, по вульгате, Иеффай положительно признает право бога Хамоса и что французский переводчик ослабляет это признание словом «по-вашему», которого нет в латинском тексте.

** Совершенно очевидно, что фокейская война, названная также священной войной, не была войной религиозной. Цель ее была наказать кощунство, но не усмирять неверующих.

связана с законами государства, ее предписавшего, то единственным средством обратить народ в свою религию было поработить его, а единственными миссионерами были завоеватели; и так как обязанность изменять религию была законом для побежденных, то прежде чем говорить о перемене религии, надо было начинать с победы. Не люди вовсе сражались за богов, а как у Гомера, боги сражались за людей. Каждый просил у своего бога победы и оплачивал эту победу новыми алтарями. Римляне, прежде чем взять какую-нибудь крепость, упрашивали местных богов покинуть ее, а если они оставили тарентинцам их разгневанных богов, то это произошло потому, что они считали этих богов подчиненными своим богам и принужденными оказывать им почести. Они оставляли побежденным их богов, как они оставляли им их законы. Часто единственной данью, которую они налагали, был венок Юпитеру Капитолийскому.

Наконец, так как римляне вместе с своим владычеством распространяли и свой культ и своих богов и так как часто они сами принимали в свой пантеон богов побежденных, предоставляя и тем и другим право гражданства, то народы этой огромной империи незаметно оказались обладателями множества богов и культов, почти везде одинаковых. Таким именно образом язычество стало известно в мире как единая и одинаковая для всех религия.

При этих-то условиях пришел Иисус для установления на земле духовного царства; от этого отделения системы теологической от системы политической произошло то, что государство перестало быть единым; а отсюда произошли те внутренние неурядицы, которые постоянно волновали христианские народы. А так как эта новая идея — царства другого мира — не могла вместиться в голове язычников, то они и смотрели на христиан как на настоящих бунтовщиков, которые, под ложным видом покорности, искали лишь удобного момента, для того чтобы стать независимыми и повелителями и чтобы легким маневром узурпировать власть, делая вид, что уважают ее. Такова была причина гонений.

То, чего язычники боялись, совершилось. Тогда все изменилось. Смиренные христиане заговорили иначе, и скоро это царство, якобы другого мира, стало под руководством видимого главы самым жестоким деспотизмом на земле. Но так как в этом царстве всегда были и государь и гражданские законы, то наличность двойной власти привела к вечному конфликту в юрисдикции, который сделал совершенно невозможным в христианских государствах всякое хорошее государ-

ственное устройство, и никогда нельзя было с точностью узнать, кому следовало повиноваться: светскому повелителю или священнику.

Многие народы даже в Европе и соприкасающихся с ней странах пытались все-таки сохранить или восстановить старую систему, но без всякого успеха. Дух христианства проник повсюду. Религиозный культ стал независим от суверена и не был необходимо связан с государственным организмом. Магомет имел правильный взгляд; он хорошо связал свою политическую систему, и до тех пор пока созданная им форма правительства существовала при калифах и их преемниках, это правительство было действительно единым и в этом смысле хорошим. Но арабы, став народом цветущим, образованным, воспитанным, изнеженным и трусливым, были покорены варварами; тогда разделение между властями произошло вновь. Хотя оно менее очевидно у магомеган, чем у христиан, но оно существует все-таки у первых, в особенности у секты Али, и есть государства, как, например, Персия, где это деление постоянно дает себя чувствовать.

В Европе английские короли стали главой церкви; точно так же поступили цари; но, присвоив себе этот титул глав церкви, они стали скорее слугами ее, чем господами; они приобрели в гораздо меньшей степени право изменять ее, чем возможность ее поддерживать; они являются в ней не законодателями, а только государями. Везде, где духовенство составляет особую корпорацию *, оно — повелитель и законодатель в своем отечестве. Итак, и в Англии и в России, как и везде, существуют две власти, два суверена.

Из всех христианских авторов один только философ Гоббс прекрасно понимал и зло и средство для его излечения; он один осмелился предложить соединение двух глав орла и приведение всего к политическому единству, без которого никогда ни государство, ни правительство не будут хорошо устроены. Но он должен был видеть и то, что дух господства в христианстве был несовместим с его системой и что интерес

---

* Необходимо заметить, что духовенство связывают в один организм не столько формальные собрания, каковы собрания французского духовенства, сколько единство исповедания. Церковное исповедание и отлучение от церкви служат социальным договором духовенства, договором, посредством которого оно всегда будет повелителем народов и королей. Все священники, имеющие общее исповедание, сограждане, хотя бы они и жили на противоположных концах света. Это изобретение есть шедевр политики; ничего подобного не было среди языческих жрецов, поэтому-то они никогда и не составляли корпорации духовенства.

священника всегда будет сильней, чем интерес государства. Политику Гоббса сделало ненавистной не столько то, что в ней есть ужасного и ложного, сколько то, что в ней есть справедливого и верного*.

Я думаю, что, рассматривая с этой точки зрения исторические факты, легко можно опровергнуть противоположные воззрения Бейля и Варбуртона, из которых один уверяет, что никакая религия не полезна для политического организма, а другой, напротив, утверждает, что христианство является наиболее прочной опорой для государства. Первому можно было бы доказать, что ни одно государство не было основано без того, чтобы религия не послужила для него основанием, а второму, что христианский закон в сущности более вреден, чем полезен, для прочного государственного устройства. Для того чтобы я мог быть понят надлежащим образом, мне надо только придать больше точности слишком неопределенным религиозным идеям, относящимся к моему предмету.

Религия, рассматриваемая по ее отношению к обществу, которое может быть или общим или частным, может быть также разделена на два вида, а именно: религия человека и религия гражданина. Первая, не имеющая ни храмов, ни алтарей, ни обрядов, ограниченная только чисто внутренним культом высшего бога и вечными моральными обязанностями, есть чистая и простая религия евангелия, истинный теизм, и то, что можно назвать естественным божественным правом. Другая религия, составляющая принадлежность одной только страны, дает последней ее богов, ее собственных патронов и покровителей; у этой религии есть свои догматы, свои обряды, свой внешний культ, предписанный законами. Вне той единственной нации, которая исповедует эту религию, все остальное для последней представляется неверным, чуждым и варварским. Она простирает обязанности и права человека только на то пространство, которое занимают ее алтари. Таковы были религии всех первобытных народов — религии, которым можно дать название божественного гражданского или положительного права.

Есть еще третий вид религии, более странный, который, давая людям два законодательства, две главы, два отечества,

* Интересно отметить, между прочим, в одном письме к брату от 11 апреля 1643 г., что Гроций одобряет в книге «О гражданине» и что он порицает. Правда, склонный к терпимости, Гроций готов простить автору добро во имя зла, но не все так терпимы.

подчиняет их противоположным обязанностям и мешает им быть в одно и то же время и благочестивыми людьми и гражданами. Такова религия лам, такова религия японцев, и таково римское христианство. Последнее можно назвать религией священника. Отсюда проистекает нечто вроде смешанного и не общественного права, которому нет названия.

Если рассматривать эти три вида религии с политической точки зрения, то все они имеют свои недостатки. Третий вид настолько очевидно плох, что было бы потерей времени забавляться доказательством этого. Все, что разрывает социальное единство, ничего не стоит; все институты, которые ставят человека в противоречие с самим собой, никуда не годны.

Второй вид религии хорош в том отношении, что он соединяет культ божества с любовью к законам, а делая из отечества предмет почитания для граждан, религия учит их, что служить государству — значит служить богу-покровителю. Это род теократии, в которой не должно быть другого верховного жреца, кроме государя, и других жрецов, кроме магистратов. В таком случае умереть за свою страну — значит итти на мученический подвиг; нарушить законы — значит оказаться нечестивцем, а подчинить виновного публичному отвержению — значит обречь его гневу богов: Sacer esto.

Но этот вид религии дурен в том отношении, что, будучи основан на ошибке и лжи, он обманывает людей, делает их доверчивыми, суеверными и растворяет истинный культ божества в пустой обрядности. Этого рода религия оказывает дурное влияние и тогда, когда, став исключительно тиранической, она делает народ кровожадным и нетерпимым, так что он думает только об убийствах и избиениях и верит, что он делает святое дело, убивая всякого, кто не принимает его богов. Это ставит такой народ в очень вредное для его безопасности, естественное состояние войны со всеми другими народами.

Остается, значит, религия человека, или христианство, но не современное христианство, а евангельское, совершенно отличное от первого. Посредством этой святой, возвышенной, истинной религии все люди — дети одного и того же бога — признают себя братьями, а общество, которое их соединяет, не распадается даже после смерти.

Но эта религия, не имея никакой особой связи с политическим организмом, оставляет за законом только ту силу, которую он представляет сам по себе, не прибавляя к этой силе никакой другой; а благодаря этому одна из крупных

связей отдельного общества не оказывает своего действия. Больше того, религия эта не только не привязывает сердца граждан к государству, она отвращает их от него, как от всех остальных земных дел. Я не знаю ничего более противоположного социальному духу.

Нам могут сказать, что народ, состоящий из истинных христиан, образовал бы наиболее совершенное общество, какое только можно себе представить. В этом предположении я вижу только одну значительную трудность: общество, состоящее из истинных христиан, не было бы уже обществом, состоящим из людей.

Я утверждаю даже, что это предполагаемое общество при всем своем совершенстве не было бы ни более прочным, ни более долговечным. Благодаря тому, что оно будет совершенно, в нем не будет никакой связи. Порок, который разрушил бы его, заключался бы в самом совершенстве.

Каждый выполнял бы свой долг; народ подчинялся бы законам; начальники были бы справедливыми и умеренными; судьи — честными и неподкупными; солдаты презирали бы смерть; не существовало бы ни суетности, ни роскоши — все это очень хорошо, но посмотрим, что дальше.

Христианство — религия всецело духовная, занятая исключительно небесными делами; отечество христианина не в этом мире; он исполняет, конечно, свой долг, но он исполняет его, относясь глубоко индиферентно к хорошему или дурному результату своих забот. Лишь бы ему не в чем было себя упрекнуть, а дальше ему совершенно безразлично, идут ли на земле дела хорошо или скверно. Если государство процветает, то он едва осмеливается пользоваться общественным благополучием; он боится, что возгордится славой своей страны. Если государство погибает, он благословляет десницу бога, карающую его народ.

Для того чтобы общество было мирным и чтобы гармония продолжала существовать, необходимо было бы, чтобы все граждане без исключения были одинаково добрыми христианами; но если, к несчастью, найдется хоть один честолюбец, хотя бы один лицемер вроде Катилины или Кромвеля, то последнему будет легко справиться со своими благочестивыми соотечественниками. Христианское милосердие нелегко допускает, чтобы можно было подумать худо о своем ближнем. Как только такой человек посредством какой-нибудь хитрости сумеет повлиять на соотечественников и овладеть частью общественной власти, он сразу станет человеком, достойным уважения в их глазах: бог хочет, чтобы его уважали; скоро

является и власть: бог хочет, чтобы ему повиновались. Если хранитель этой власти начинает злоупотреблять ею, то это бич, которым господь бог наказывает своих детей. Изгнать узурпатора нехватит духа; для этого надо было бы нарушить общественный покой, применить силу, пролить кровь; все это плохо согласуется с мягкосердечием христианина; и, наконец, не все ли ему равно, будет ли он свободным или рабом в этой юдоли бедствий. Главное — это попасть в рай, а смирение только средство для этого.

В случае какой-нибудь иноземной войны граждане охотно идут в сражение; никто из них не думает бежать; они выполняют свой долг, но не проникнуты горячим желанием победить; они умеют скорее умирать, чем побеждать. Не все ли равно, будут ли они победителями или побежденными? Разве провидение не знает лучше их то, что им нужно? Можно себе представить, какую выгоду может извлечь из такого стоицизма гордый, страстный и непреклонный враг. Противопоставьте им те благородные народы, которые были проникнуты горячей любовью к славе и отечеству. Поставьте вашу христианскую республику против Спарты или Рима: благочестивые христиане будут разбиты, раздавлены, уничтожены, прежде чем они успеют опомниться, или будут обязаны своим спасением только презрению к ним со стороны врага. По моему мнению, клятва солдат Фабия была прекрасной клятвой: они не клялись умереть или победить, они поклялись вернуться победителями и сдержали свою клятву. Никогда христиане не решились бы на подобную клятву: они сочли бы это искушением бога.

Но я ошибаюсь, говоря: христианская республика,— каждое из этих двух слов исключает другое: христианство проповедует лишь рабство и зависимость; дух его слишком выгоден для тирании, для того чтобы последняя не пользовалась постоянно этим. Истинные христиане созданы для того, чтобы быть рабами; они знают об этом, и это мало их смущает. Краткая земная жизнь имеет слишком мало ценности в их глазах.

Нам скажут, что христианские войска превосходны. Я это отрицаю. Пусть мне покажут превосходные христианские войска. Что касается меня, то я таковых не знаю. Мне укажут на крестовые походы. Не оспаривая храбрости крестоносцев, я замечу только, что они были вовсе не христианами, а солдатами первосвященника, гражданами церкви; они сражались за свою духовную страну, которую неизвестно каким образом церковь превратила в земную. Если хорошо рассмот-

реть крестовые походы, то они подойдут под понятие язычества. Так как евангелие не устанавливает национальной религии, то никакая священная война не возможна среди христиан.

При языческих императорах христианские солдаты были храбры; все христианские авторы утверждают это, и я им верю. Это было соревнование с языческими войсками. Но с тех пор как императоры стали христианами, этот стимул перестал существовать; а когда крест изгнал орла, исчезла вся римская доблесть.

Но, оставляя в стороне политические размышления, вернемся к праву и установим принципы в этом важном пункте. Право, которое общественный договор предоставляет суверену по отношению к подданным, не переходит, как я уже сказал, границ общественной пользы *.

Подданные должны отдавать отчет суверену в своих убеждениях, лишь поскольку убеждения эти важны для общины. А государству важно, чтобы каждый гражданин имел религию, которая заставила бы его любить свои обязанности. Но догматы этой религии интересуют государство и его членов лишь настолько, насколько эти догматы относятся к морали и обязанностям, которые исповедующий их обязан выполнять по отношению к ближнему. Каждый может иметь сверх того какие ему угодно убеждения, причем суверену вовсе не нужно их знать, потому что он совершенно не компетентен в вопросах неба, и не его дело, какая судьба постигнет подданных в будущей их жизни, лишь бы они были хорошими гражданами в жизни земной.

Существует таким образом символ веры чисто гражданский, статьи которого суверен имеет право устанавливать не как догматы религии, конечно, но как чувства общественности, при отсутствии которых нельзя быть ни хорошим гражданином, ни верноподданным **. Не имея возможности

---

* «В республике, — говорит маркиз д'Аржансон,— всякий свободен во всем, что не вредит другим». Вот неизменный предел; нельзя его выразить более точно. Я не мог отказать себе в удовольствии цитировать иногда эту рукопись, хотя и неизвестную публике, для того чтобы почтить память знаменитого и уважаемого человека, который даже в бытность свою министром сохранил сердце истинного гражданина и правильные и здравые взгляды на правительство своей страны.

** Цезарь, защищая Катилину, пытался установить догмат смертности души. Катон и Цицерон, чтобы опровергнуть его, не занялись вовсе философствованием: они удовлетворились доказательством того, что Цезарь говорил как дурной гражданин и выдвинул доктрину, гибельную для государства. В самом деле, вот что должен был обсуждать римский сенат, а не вопросы теологии.

принуждать кого-нибудь верить в установленные им догматы, государство может изгнать из своих пределов всякого, кто в них не верит; оно может его изгнать не как нечестивца, а как человека необщественного, как гражданина, неспособного любить откровенно законы и справедливость и неспособного также принести в жертву, в случае надобности, свою жизнь своему долгу. Если же кто-нибудь, признав публично эти догматы, ведет себя как неверующий в них, то он должен быть наказан смертью: он совершил величайшее преступление: он солгал перед законами.

Догматы гражданской религии должны быть просты, немногочисленны, выражены точно, без объяснений и комментариев. Существование могучего, разумного, благодетельного, предусмотрительного и заботливого божества, будущая жизнь, счастье справедливых, наказание злых, святость общественного договора и законов — вот положительные догматы. Что касается догматов отрицательных, то я ограничиваю их одним только догматом — нетерпимостью; она входит в исключенные нами культы.

Те, кто различает нетерпимость гражданскую и нетерпимость теологическую, по моему мнению, ошибаются. Обе эти нетерпимости неотделимы. Невозможно жить в мире с людьми, которых считают проклятыми. Любить их значило бы ненавидеть бога, который их наказывает. Представляется абсолютно необходимым или направить их на путь истинный, или мучить их. Везде, где допущена теологическая нетерпимость, она необходимо окажет известное воздействие на гражданскую жизнь*, а как только она приобретает это

---

* Так как, например, брак является гражданским договором то он приводит к последствиям, без которых общество не может даже существовать. Предположим, что духовенству удается присвоить себе одному право осуществлять этот акт, право, которое оно по необходимости должно узурпировать во всякой нетерпимой религии, — не ясно ли, что в этом случае, осуществляя в надлежащий момент церковную власть, оно сделает лишней власть государя и что у государя останутся только те подданные, которых пожелает уступить ему духовенство? Обладая полным правом венчать или не венчать людей, смотря по тому, признают они или не признают такое-то учение, принимают или отвергают те или иные формы исповедания, преданы они церкви или нет, мудро следуя своей политике, настойчиво проводя свою точку зрения, — духовенство, несомненно, одно будет располагать распределением наследств, назначением на должности, одно будет господином и граждан и самого государства, ибо последнее не может существовать, если в нем будут одни незаконнорожденные. Но, скажут, об этом заговорят как о злоупотреблении, приостановят закон,

влияние, суверен перестает быть сувереном даже временно. С этого момента истинными господами становятся священники: короли суть только их подчиненные.

Теперь, когда нет и не может быть больше исключительно национальной религии, необходимо терпеть все те религии, которые терпят другие, по крайней мере в той степени, в какой догматы этих религий не заключают ничего противного обязанностям гражданина. Но тот, кто осмеливается сказать: «вне церкви нет спасенья», должен быть изгнан из пределов государства, если только государство не есть в то же время и церковь, а государь — не первосвященник. Такой догмат хорош только при теократическом образе правления; при всяком другом он гибелен. Основания, по которым, как говорят, Генрих IV принял католичество, должны были бы побудить всякого честного человека и в особенности всякого государя, который умел бы рассуждать, отказаться от этой религии.

ГЛАВА IX

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

После того как мы установили истинные принципы политического права и пытались построить государство на его фундаменте, остается еще укрепить его в его внешних сношениях; сюда вошло бы международное право, торговля, право войны и завоевания, право публичное, союзы, переговоры, договоры и т. д. Но все это составляет новый предмет, слишком обширный для моего ограниченного взора. Мне всегда следовало бы ограничивать его предметами, более близкими мне.

издадут соответствующий декрет, захватят светскую власть Какая жалость! Духовенство, если будет обладать сколько-нибудь,— я не говорю даже мужеством, а здравым смыслом, — позволит делать что угодно и будет продолжать итти своим путем; оно спокойно позволит жаловаться, отсрочивать, декретировать, арестовывать и кончит тем, что останется господином. Небольшая, я думаю, жертва отказаться от части, когда существует уверенность во владении всем.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Стр.

От издательства III
Предварительное замечание 2

КНИГА ПЕРВАЯ

Глава I. Предмет первой книги 3
Глава II. О первоначальных обществах 4
Глава III. О праве сильного 6
Глава IV. О рабстве 7
Глава V. О том, что необходимо постоянно восходить до первоначального соглашения 11
Глава VI. Об общественном договоре 12
Глава VII. О суверене 14
Глава VIII. О гражданском состоянии 16
Глава IX. О владении 17

КНИГА ВТОРАЯ

Глава I. О том, что суверенитет неотчуждаем 21
Глава II. О том, что суверенитет неделим 22
Глава III. Может ли общая воля ошибаться 24
Глава IV. О пределах суверенной власти 25
Глава V. О праве жизни и смерти 28
Глава VI. О законе 30
Глава VII. О законодателе 33
Глава VIII. О народе 37
Глава IX. О народе (продолжение) 39
Глава X. О народе (продолжение) 41
Глава XI. О различных системах законодательства . . . 44
Глава XII. Подразделение законов 46

КНИГА ТРЕТЬЯ

Глава I. О правительстве вообще 48
Глава II. О принципе, на котором строятся различные формы правительства 53

Стр.

Глава III. Деление правительств 55
Глава IV. О демократии 57
Глава V. Об аристократии 58
Глава VI. О монархии 61
Глава VII. О правительствах смешанных 66
Глава VIII. О том, что не всякая форма правительства пригодна для всякой страны 67
Глава IX. О признаках хорошего правительства 72
Глава X. О злоупотреблении правительства и о наклонности его к вырождению 73
Глава XI. О гибели политического организма 76
Глава XII. О том как поддерживается суверенная власть 78
Глава XIII. Продолжение 78
Глава XIV. Продолжение 80
Глава XV. О депутатах, или представителях 81
Глава XVI. О том, что учреждение правительства не есть договор 84
Глава XVII. Об учреждении правительства 85
Глава XVIII. О средствах предупреждения узурпации правительства 86

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

Глава I. О том, что общая воля неразрушима 89
Глава II. О голосованиях 91
Глава III. О выборах 93
Глава IV. О римских комициях 95
Глава V. О трибунате 105
Глава VI. О диктатуре 106
Глава VII. О цензуре 109
Глава VIII. О гражданской религии 111
Глава IX. Заключение 121

Редактор *А. Дворцов*
Тех. редактор *Е. Раецкая*
Художник *М. Малкин*
Корректор *М. Покровская*

Сдано в набор 22/X—1937 г. Подписано в печать 31/I—1938 г. Формат издания 84×108/32. Объем книги $8^1/_4$ печ. л. 8.215 учетно-авт. л. Тираж. 10 000. ОГИЗ № 2039. Уполномоченный Главлита Б—13738. Серия — классики философии.
Заказ № 1369
Цена книги 2 р. 05 к.
Цена переплета 1 р. 50 коп.

Набрано в 18-й типографии треста «Полиграфкнига», Москва, Шубинский, 10.

Отпечатано в 16-й типографии треста «Полиграфкнига». Москва, Трехпрудный, 9.
Заказ № 303